

ВАЛЕРИЯ ВЕРБИНИНА



*Заблудившаяся
муза*



Приключения баронессы Корф

Амалия – секретный агент императора

Валерия Вербинина
Заблудившаяся муза

«Автор»

2013

Вербинина В.

Заблудившаяся муза / В. Вербинина — «Автор»,
2013 — (Амалия – секретный агент императора)

ISBN 978-5-699-66519-8

Знаменитый композитор Дмитрий Иванович Чигринский считал себя человеком, стойким к ударам судьбы, но убийство любимой женщины буквально подкосило его. Найдя Оленьку мертвой, он ужасно растерялся и никак не мог сообразить, как ему поступить. Позвать полицию? Но он первым окажется на подозрении, а журналисты радостно смешают его имя с грязью... Когда Чигринский пытался избавиться от тела своей любовницы, невольной свидетельницей этого стала Амалия Корф, бывший секретный агент российского императора. По какой-то причине она решила принять участие в судьбе бедного Чигринского и пообещала провести собственное расследование. Измученный композитор уже не знал, повезло ли ему или он окончательно погиб из-за того, что тем вечером ему встретила на Английской набережной баронесса Корф...

ISBN 978-5-699-66519-8

© Вербинина В., 2013

© Автор, 2013

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	12
Глава 4	19
Глава 5	23
Глава 6	26
Глава 7	31
Глава 8	35
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Валерия Вербинина

Заблудившаяся муза

Глава 1

Пробуждение

Знаменитый композитор Дмитрий Иванович Чигринский проснулся утром с таким ощущением, словно ему следовало повеситься еще вчера. Однако вчера, судя по всему, дело не заладилось, и сегодня надо было начинать все сначала.

Он полежал в постели, прислушиваясь к себе, но внутри было глухо и сумеречно. Ни мелодии, ни намек на нее, ни одной музыкальной фразы. Склеп, мрачно помыслил Чигринский, склеп в отдаленном углу кладбища, куда даже не доносятся обрывки похоронных маршей. Все тут пришло в запустение, все мертво, как его душа, из которой ушла музыка. Произошло это около двух недель тому назад.

Да-с, именно так и никак иначе. Еще за день до того он был полон самых разнообразных замыслов и в голове порхали обрывки мотивов, привольные, как бабочки, танцующие в солнечном свете; и вот – не угодно ли – просыпаешься у себя в спальне, и вокруг все такое же, как и всегда, и на противоположной стене висит глупый пейзаж с глупым морем и луной над ним, похожей на апельсин, – пейзаж, который он видит и сейчас, – и обстановка вокруг знакомая до боли, но настоящая-то боль впереди, потому что внезапно он осознает, что что-то не так. И пейзаж не тот, и спальня, и он сам, а все потому, что он больше не чувствует музыки. Ее нет, а стало быть, нет ни его самого, ни его дома, ни Невы, ни Петербурга. А если и есть, то все это неважно, потому что музыка – его музыка – умерла.

Вот так он проснулся недели две тому назад, и едва подумал о новых стихах поэта Алексея Нередина, к которым хотел сочинить мелодию, как с оторопью, переходящей в панику, осознал, что ничего у него не получится. Музыка больше нет, и что с ней стало – бог весть. И вернется ли, не вернется – совершенно непонятно. Одним словом, кончился композитор Чигринский. Баста. Каюк!

Обыкновенно Дмитрий Иванович смеялся над людьми, которые с томным видом уверяли, что их покинуло вдохновение и они больше не могут сочинить ни строчки. Ему всегда казалось, что это поза, призванная лишь оправдать собственную лень, а иногда – не слишком умело замаскированный шантаж, чтобы выжать из издателей побольше денег. Однако когда с ним самим приключилось это несчастье (а в том, что это именно несчастье, он больше не сомневался), он заметался и, во всяком случае, потерял всякое желание подтрунивать над другими. Как-то вдруг выяснилось, что вдохновение – не комнатная собачка, которую позвали, и она уже бежит, виляя хвостом. Кроме того, выяснилось, что оно безжалостно, что оно не уходит даже, а исчезает, не оставив никакого знака, никакого указания на то, как его можно вернуть обратно. И самое обидное: было совершенно непонятно, чем Дмитрий Иванович мог заслужить такую немилость. Тщетно ломал он голову, пытаясь вспомнить нечто особенное, какие-то обстоятельства, из-за которых композиторский дар мог покинуть его...

Нет, он не выжимал из себя по сто модных мелодий в год – непосильная нагрузка, от которой выдохнется любое, даже самое изобретательное, вдохновение. И если он и пил, то вполне умеренно (дюжина шампанского на дне рождения Алешки Нередина не в счет, они друзья, а дни рождения друзей надо отмечать широко). Не было в жизни Чигринского и глупой отвлекающей страстишки, пылкой любви к какой-нибудь чаровнице с холодными глазами, которая пришила бы его сердце к шлейфу своего шелкового платья и валяла его в пыли.

То есть любовь-то, в общем, была, но любовь – как бы выразиться поточнее – необременительная, согласная занимать то место, которое он ей давал, любовь, которая не требовала от него немислимых жертв и мирно уживалась с его призванием (тут он вспомнил голубые глаза Оленьки и улыбнулся). И не был он болен, как Алешка, которого ни с того ни с сего сразила чахотка, и не случилось в его жизни ничего эдакого, после чего она покатила бы в тартарары, сминая и уничтожая человеческую личность, как какую-нибудь бумажку. И вообще, ничего, *ничего* не изменилось по сравнению с теми счастливыми (он теперь ясно видел это) днями, когда он мог сочинять, и мелодий было столько, что они теснились в воображении и рвались наружу, словно торопясь обогнать друг друга.

Когда он только осознал свою беду, он думал, что случившееся – явление временное, и музыка куда-то отлучилась, чтобы вскоре вернуться. Но прошел день, потом другой, затем неделя, вторая, и Чигринский затосковал. Он блуждал по своему кабинету (двенадцать шагов по диагонали ковра туда, двенадцать шагов обратно), засунув руки в карманы потрепанного коричневого халата, в котором ходил дома, и с отчаянием понимал, что ничего, ну ничегошеньки не может поделать. Пианино, на котором он обычно сочинял свои мелодии, стояло темное и торжественное, как гроб, и композитору чудилось, что даже оно осуждает его.

Выдохся! выдохся! исписался, голубчик, исчерпал себя, улетела муза, или не муза, а как там ее... которая стоит за твоим плечом и водит пером, и весь мир кажется тогда по плечу (каков каламбур, а?).

Чигринский был натурой здоровой, и его никогда не тянуло к самоубийству, но в эти дни, когда страшное слово – исписался – предстало перед ним во всем своем жутком величии, во всей омерзительной красе, он поймал себя на том, что чаще стал смотреть на пистолеты, которые, верный своей привычке, продолжал хранить у себя дома (в прошлом, до того, как стать любимцем публики и известным всей России композитором, Дмитрий Иванович был всего лишь гусарским офицером).

Оно, конечно, верно: жизнь есть непреходящая и величайшая ценность, но, если это жизнь Дмитрия Чигринского и из нее ушла музыка, на кой она ему сдалась?

Он заворочался в постели, пытаясь уловить хоть что-то, хоть какое-то подобие мелодии, рождающееся в воображении, но там все было пусто и скучно – ничего и никого. Ни ноты, ни отзвука, ни даже эха. И Чигринский с горечью подумал, что так, наверное, должна себя чувствовать сломанная шарманка.

Впрочем, шарманку еще можно починить, а кто починит его?

От таких мыслей впору было и в самом деле повеситься. Вот вам, пожалуйста: крепкий, здоровый, полный сил мужчина, пользующийся популярностью и даже (что бывает гораздо реже) уважением общества, всего в жизни добившийся сам, один из известнейших композиторов России – и, кстати, один из немногих, которого знают за границей. Денег у него достаточно, женщины к нему льнут, и вообще все, все хорошо, только музыка, или муза, черт ее разберет, его покинула. И лежит он колодой на смятых простынях, смутно размышляя о том, что ему хочется лишь умереть и ничто абсолютно его не радует.

Поехать, что ли, к Дюссо (по старой памяти он хаживал в этот ресторан, любимый офицерами) и напиться так, чтобы чертям стало тошно? А смысл?

Поехать к Оленьке и утонуть в ее чудесных голубых глазах? А смысл?

Или отправиться на какой-нибудь званый вечер (он редко показывался на них, и оттого его жаждали заполучить к себе даже самые изысканные, самые аристократические салоны)? А смысл?

Вот и получалось, что без музыки ничто не имело смысла. Ну будет он ходить среди фраков и трендов как живой мертвец, и все будут думать, что он такой же, как все, и только ему будет ведомо, что на самом деле он больше не существует, а тот Дмитрий Иванович Чигринский, которым все восхищаются, – лишь миф, личина. Так, одна видимость.

От одной мысли об этом он почувствовал себя больным и поглубже зарылся в одеяло. Ничто его не радовало, ничто не могло утешить с тех пор, как его музыка ушла.
«Лучше бы я умер», – обреченно подумал он и чихнул.

Глава 2

Музыка и ее служители

– Прощка! – взревел Чигринский.

Чихнув еще раз, он нашарил на прикроватном столике колокольчик, опрокинул по пути что-то – кажется, стопку книг – и чертыхнулся по-гусарски крепко.

– Прощка! – заорал Чигринский, яростно звоня.

Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась узкая бледная физиономия с длинным носом, украшенным бородавкой. Это был Прохор Антипов, формально – слуга Дмитрия Ивановича, а по сути – его преданный раб, нянька и незаменимый помощник.

До того как попасть на службу к композитору, Прохор был регентом в каком-то захолустном углу обширной Российской империи и скорее всего там бы и окончил свои дни, но по воле providения его жизненный путь скрестился с дорогой Чигринского, скуцавшего в имении своих знакомых по соседству. Разговорившись с сутулым, некрасивым, смешным человечком, который вечно вышагивал со связкой растрепанных нот под мышкой, Чигринский узнал, что тот очень любит музыку, а кроме того, имеет феноменальную память и практически абсолютный слух. Из-за этого, кстати, судьба сыграла с ним злую шутку: он собирался жениться на дочке местного кузнеца, но, на беду, выяснил, что она не может отличить си от фа. Прохор сначала рассердился, потом возмутился и под конец объявил, что такая жена ему не нужна. Приводить жениха в чувство явился сам кузнец, известный тяжелой рукой и крутым нравом. Своей мощной дланью он ухватил тщедушного Антипова за бородавку, но тот, извиваясь аки ящерица, вырвался (очевидцы утверждали, что как ящерица оставляет врагу на память свой хвост, так и Прохору пришлось попрощаться с частью своей жидкой бороды) и заперся на колокольне, громко крича:

– Изыди, анафема!

– Спускайся, подлец! – кричал снизу кузнец, потрясая ключьями Прохоровой бороды, зажатыми в кулачище величиной с хорошую дыню.

– А вот и не спущусь! – отвечал сверху осмелевший Прохор. – Как же это можно – не уметь ноты различать? Ладно буквы, их тьма-тьмушая, но ноты!..

Слушая рассказ о злоключениях Прохора, которому кузнец с присовокуплением многочисленных бранных слов пообещал вправить мозги так, что он забудет не только ноты, но и свое собственное имя, Чигринский хохотал до того, что на глазах у него выступили слезы. А отсмеявшись, он без всяких околичностей предложил Прохору поступить к нему на службу.

– Ну, не знаю, не знаю, сударь, – забурчал тот, сдвинув свои лохматые брови. – Вы лицо светское, а я не привыкши...

– Да ладно тебе, – махнул рукой Чигринский. – Ты же сам говорил, что твой хор – сплошное мучение, у половины нет голоса, а только старание. На одном старании далеко не уедешь... Впрочем, поступай как знаешь, – уже сердито добавил композитор, который терпеть не мог уламывать кого бы то ни было. – Хочешь, чтобы кузнец тебе в сумерках голову проломил, – твое дело...

Поразмыслив, Прохор признал справедливость слов Дмитрия Ивановича и уже на следующий день перенес к композитору свои вещи. Половину их составляли ноты и разные сочинения о музыке, большинство которых напечатали еще тогда, когда ни Прохора, ни Чигринского на свете не было.

– Ба, а вот эта книжка на латыни! – изумился Чигринский. – В руках рассыпается, но читать можно... Ты что, и латынь знаешь?

– Не знаю, – вздохнул Прохор, – ну а вдруг выучу? Прочитаю тогда, что умные люди о музыке-то написали... Заглавие видели? «De musicae mundi»¹, во как!

– По-моему, это какой-то философский трактат, – хмыкнул Чигринский, не без труда продравшись через несколько фраз текста. – Ладно, как прочитаешь, расскажешь, о чем там говорится...

Он удалился, а через минуту Прохор сквозь неплотно притворенные двери расслышал, как его новый хозяин музицирует. Антипов застыл на месте, на его глазах выступили слезы, одна из которых потекла по длинному носу и докатилась до бородавки. Музыку Прохор обо-жал до чрезвычайности, а какой-нибудь особенно удачный пассаж мог и вовсе привести его в состояние, близкое к экстазу. Но, хотя мало кто так разбирался в музыке, как этот невзрач-ный рыжеватый человечек, таланта к сочинительству у Антипова не было. И, учуяв этот самый талант в Чигринском, бывший регент прилепился к нему всей своей восторженной душой.

Прохорово видение мира было предельно ясным: вселенная вертится вокруг Дмитрия Ивановича, а если в учебниках написано, что какие-то малозначительные планеты вращаются вокруг Солнца, то это недоразумение, которое простительно людям, в музыке не смыслящим. За короткое время новый слуга сделался положительно незаменим. Он разобрался с креди-торами, которые допекали Чигринского еще с гусарских времен, завел в доме ненавязчивый, но строгий порядок и, присмотревшись к друзьям и знакомым хозяина, рассортировал их по каким-то ему одному ведомым воображаемым полочкам. Он изловчился отваживать тех, которые только зря тратили время (и деньги) добродушного, расточительного композитора и, наоборот, привечал тех, которые оказывали на Чигринского хорошее влияние или были ему действительно необходимы. Кроме того, Прохор принимал многочисленных посетителей и частенько, едва перекинувшись с человеком парой слов, определял, кто действительно нужда-ется во внимании или в помощи, а кто явился лишь для того, чтобы вечером небрежно уронить в кругу приятелей: «Сегодня я навестил Дмитрия Ивановича... Какого Дмитрия Ивановича? Чигринского, разумеется... Да, который музыкант. Представьте, мы с ним давно знакомы...» и далее расписывать историю знакомства, которая сильно озадачила бы самого композитора, который сегодня видел гостя первый раз в жизни. А еще бывали дамы, причем самые разные, от модисток до посланниц великих княжон, – тех, которые любили музыку Чигринского и счи-тали своим долгом сообщить ему это через посредниц, являвшихся в обманчиво скромных нарядах.

– Ну что они все от меня хотят? – стонал композитор. – «Ах, как я люблю ваши песни, сколько в них поэзии, сколько чувства, сколько изящества!» И что? Я должен запрыгать от радости? Сойти с ума от счастья? И ведь хвалят-то обычно самые дурацкие, самые никчем-ные вещи, просто буквально: сел к роялю и, смеясь, записал между двумя трубками! А потом барышни друг у друга ноты вырывают, чуть ли не дерутся из-за них в магазинах...

Прохор слушал и смиренно кивал, но в глубине души был уверен, что хвалят совершенно правильно и что именно то, что, как казалось Чигринскому, он выдумал на ходу, безо вся-ких усилий, у него получалось лучше всего. Как только он начинал размышлять об отделке, о какой-то своей музыкальной философии, его музыка становилась тяжеловесной, рассудоч-ной, какой-то немецкой. Но Прохор скорее отрезал бы себе язык, чем признался в крамольных мыслях хозяину, которого боготворил...

Чигринский был мастером небольших вещей, таких мелодий, которые любой мало-маль-ски образованный человек может исполнить, таких песен, которые каждый может спеть. И мало этого: услышав написанное им один раз, мало кто отказался бы прослушать то же самое во второй, и даже несколько раз кряду. Его музыка как-то незаметно будила в каждом свои собственные мысли и чувства, она касалась таких струн души, которые подвластны далеко не

¹ «О музыке мира» (лат.).

каждому композитору, пусть даже очень хорошему. Злопыхатели (а их, само собой, имелось предостаточно) уверяли, что секрет Чигринского на самом деле в том, что он прост как дважды два, и его мелодии точно такие же. Но именно эта простота почему-то никому, кроме него, не давалась.

Он любил сочинять песни на стихи известного поэта Алексея Нередины², с которым начал приятельствовать еще тогда, когда оба служили в армии. Писал он также вальсы, ноктюрны и сюиты, а как-то раз сочинил бравурно-маршевую мелодию к довольно неприличным стихам сослуживца, которые высмеивали армейские порядки и разные мелкие шалости, известные узкому кругу лиц. Марш потом был опубликован, разумеется, без слов. Так он звучал чрезвычайно торжественно, но все, кто некогда присутствовал при первом, авторском, исполнении этой мелодии и помнили слова, которые сами же они выкрикивали хором в задней комнате заведения небезызвестной мадам Дуду, прилагали колоссальные усилия, чтобы во время исполнения не умереть со смеху.

Но все это осталось в прошлом – и армия, и падение с лошади, когда Чигринский сломал ногу и, оказавшись в постели, начал от скуки сочинять музыку; в прошлом были и известность, а потом и настоящая слава – которая, впрочем, не помешала его отцу, отставному генералу, всегда находившемуся в ссоре со всеми, кроме себя самого, холодно процедить сквозь зубы: «Я надеюсь, ты знал, что делал, когда ушел в отставку ради твоих дурацких песенок...»

Нет, конечно, слава Дмитрия Ивановича была пока при нем, да и армейская выправка никуда не делась. Проблема была в том, что что-то сломалось в нем самом, раз музыка покинула его.

«И чем я только провинился?» – с досадой подумал он и вновь чихнул три раза подряд.

– Прощка! Почему такой собачий холод?

– Так вы сами-с вчера-с сказали, что вам жарко, сил нет, аж дышать не можете, – почтительно напомнил верный слуга. – Вот я и...

– Ты уморить меня хочешь? – возмутился Чигринский, ворочаясь с боку на бок и подтягивая одеяло повыше, чтобы сохранить тепло. – Вчера это, положим, было вчера, а сегодня – это сегодня, и вообще... Нет, – продолжал он, заводясь, – это прекрасно: я в собственном доме должен околеть от холода! Скажите, пожалуйста!

– Сейчас сделаем потеплее, – сообщил Прощка и куда-то умчался рысью.

Он прибежал с охапкой поленьев, по пути вернул на стол упавшие с него книжки и как-то очень ловко и умело растопил камин. Чигринский мрачно наблюдал за его манипуляциями. От каминов, вспомнил он, бывает угарный газ, а от угарного газа умирают. Лежал бы он сейчас окоченевший и тихий, причитали бы над ним в два голоса Прощка и обширная кухарка Мавра, и никто, ни один человек на свете не узнал бы, что он исписался, как последний, прости господи, беллетрист...

Поленья потрескивали, огонь весело полыхал, и луна на картине походила уже не на апельсин, а на лимон. Чигринский посмотрел на нее и выразительно скривился.

– Который час?

За слугу ответили стенные часы, которые пробили десять. Чигринский возмутился сам себе и полез из постели прочь. Оттолкнув Прощку, он надел любимый, драный и много раз чиненный коричневый халат, который верой и правдой служил ему много лет. Данный халат уже давно являлся причиной молчаливой борьбы между ним и слугой, который находил (кстати, вполне резонно), что знаменитому композитору, гусарскому офицеру и вообще российскому дворянину негоже щеголять дома в каких-то обносках. Время от времени Прохор подступался к господину со смиренной просьбой избавиться наконец от халата и сменить его на что-нибудь приличное. Чигринский кивал, соглашался, но от халата отказываться не спешил.

² Об Алексее Нередине подробнее можно прочитать в романе «Похититель звезд».

Вконец отчаявшись, Прохор съездил в модный магазин и приволок оттуда восхитительный шлафрок, расшитый павлинами и пестрой чепухой, изображающей сад с такими диковинными цветами, о которых даже не подозревает ботаника. Особенный соблазн шлафрока заключался в том, что пояс у него был с золотыми кистями, а, по мысли Прохора, ни один человек в мире не мог устоять против таких кистей. И точно, Дмитрий Иванович скинул наконец коричневого залатанца, облачился в шлафрок и даже, чего за ним отродясь не водилось, покрутился перед зеркалом. Держа на вытянутых руках обвисший тряпкой проклятый халат, Прохор тихо-тихо попятился к выходу, не чуя под собой ног. Шаг, другой...

– Стой!

Зычным голосом Чигринский вернул Прохора и, сбросив обольстительный шлафрок, вновь облачился в свой мерзкий халат. От огорчения у слуги даже губы задрожали.

– Что-то у меня от него тело чешется, – снисходительно объяснил свое решение Чигринский. – Да и не привык я к этим павлиньим красотам...

Впрочем, новый халат он сохранил и изредка выходил в нем к самым скучным, самым торжественным гостям, которых никак нельзя было выпроводить иначе. Чигринский говорил с ними минут пять и уходил, а они уезжали, твердо убежденные в том, что видели знаменитого композитора в домашней обстановке, среди изысканных ваз севрского фарфора и на фоне сверкающего рояля, застывшего на толстенном ковре «савоннери».

И фарфор, и роскошный рояль лучшей фирмы, к которому Чигринский почти не подходил, и даже ковер (по которому некогда будто бы ступали ножки маркизы де Помпадур) были заслугой Прохора, стремившегося обустроить холостяцкую берлогу своего хозяина как можно лучше. Однако Чигринский был равнодушен к красоте, которая его окружала – разумеется, если речь шла не о женской красоте. У себя в спальне он повесил самый никчемный, самый шаблонный, самый жалкий вид ночного моря, который когда-либо выходил из-под кисти живописца, дома, как уже было сказано, ходил в старом халате, а музыку сочинял чуть ли не на чердаке, в комнатухе на верхнем этаже, куда вела узкая и необыкновенно скрипучая лестница. Там стояло старое, раздолбанное и поцарапанное пианино с пожелтевшими клавишами, без которого он не мыслил своего существования, на стенах были серенькие обои в полосочку, которые уместны разве что в самых дешевых меблированных комнатах. Верный Прохор выдержал целую битву за то, чтобы вызвать настройщика для пианино, но на то, чтобы заставить хозяина сменить обои, его сил уже не хватило. Когда он доказывал Чигринскому, что у инструмента ужасный звук, тот только пожимал плечами и говорил:

– На что мне твой звук? Вся моя музыка здесь, понимаешь, здесь! – и стучал себя согнутым пальцем по высокому, с залысинами, лбу.

...Да-с, и куда же она делась? Непостижимо, право, непостижимо...

Глава 3

Признание

Фыркая, как потревоженный слон, Дмитрий Иванович умылся, расчесал свои редкие темные волосы и сел бриться перед зеркалом, которое держал слуга. Прохор не раз и не два пытался объяснить хозяину, что он сам отлично справится с ролью брадобрея, но все было тщетно: Чигринский не признавал никаких доводов. Он носил усы, воинственно топорщившиеся в стороны, а остальную часть лица всегда брил собственноручно. О причине такого поведения он никому не любил рассказывать. Дело в том, что, когда их полк стоял в Гомеле, знакомому Чигринского во время бритья перерезал горло цирюльник – очень тихий, незаметный и приветливый с виду человек – за то, что офицер хаживал к его жене. По правде говоря, у Чигринского тоже было в мыслях как-нибудь к ней заглянуть, но после трагедии он, само собой, отказался от своего намерения. Кроме того, он вскоре поймал себя на том, что с подозрением стал относиться к людям, у которых в руках острые предметы. А так как Дмитрий Иванович был человеком решительным, то он взял за правило бриться сам, ибо проще быть уверенным в том, кого ты знаешь лучше всех на свете, нежели в самом замечательном цирюльнике с самой достойной репутацией.

– Что пишут в газетах? – промычал он, вытирая лицо салфеткой.

Чигринский не жаловал газеты. Обыкновенно они писали всякую чепуху или же витиевато рассуждали о политике, которая, по мысли композитора, была самой чепуховой чепухой на свете. Поэтому Прохору вменялось в обязанности читать прессу от корки до корки и, только если обнаружится что-то интересное, докладывать об этом хозяину.

– Что они могут писать? – с достоинством промолвил Прохор, пожимая плечами. Перейдя на службу к Чигринскому, он стал копировать его прическу, зачесывая волосы назад, и отказался от бороды в пользу усов, которые, впрочем, не выказывали особого намерения расти. Как это часто бывает, подражание оказалось куда хуже оригинала. Залихватски торчащие усы Чигринского были частью его широкой, добродушной природы и чрезвычайно шли ему, а при взгляде на Прохора возникала мысль, что у него губы ниточкой, а открытый лоб чересчур костист.

– Так что, совсем ничего?.. – спросил композитор.

– У Алексея Ивановича скоро выходит новая книга стихов, но вы, наверное, уже знаете...

– Знаю.

– Намекают, что мы можем заключить с Германией договор. Значит, договор будет с Францией.

– Этого еще не хватало, – проворчал Чигринский. – Что немцы, что французы те еще затаенники. Если они и станут клясться нам в дружбе, то только для того, чтобы мы таскали для них каштаны из огня...

– Гм, – с некоторой растерянностью промолвил Прохор. – Но ведь России нужны друзья в Европе...

– У России нет друзей, – отрезал композитор. – И слава богу, потому что с друзьями в политике еще хуже, чем с врагами... Что-нибудь еще в газетах пишут? Только не о международном положении, не о пошлинах и не о покойном князе Бисмарке...

– Разве бывший германский рейхсканцлер³ скончался? – искренне изумился Прохор. – Я не знал...

³ Германский император Вильгельм II отправил Бисмарка в отставку в марте 1890 года.

– Раз бывший и не у власти, значит, все равно что скончался, – хмыкнул неисправимый Чигринский, который жаловал политиков еще меньше, чем политику. – Как только этих господ отправляют в отставку, можно сразу же сочинять им некролог... гм... Поддай-ка мне ножницы.

Он подровнял усы и любовно оглядел их.

– Что молчишь, Прохор? Рассказывай, что еще в газетах пишут...

– Да вам все это неинтересно, Дмитрий Иванович... Миллионер Дидерихс, говорят, обзавелся автомобилем... вещь по последнему слову техники. Певица Кирсанова дает концерт... Полиция задержала горничную по делу убитой генеральши Громовой... пишут, это она ограбила хозяйку... У служанки нашли два украденных кольца.

– Ты мне зубы-то не заговаривай, – заметил Чигринский, насмешливо шурясь. – Небось опять меня в газетах честят на все корки, а ты мне все про договоры да про дураков, которые берут грех на душу из-за каких-то колец? Что там про меня опять написали, а?

Дмитрий Иванович слишком хорошо знал своего слугу, чтобы не уловить в его голосе фальшивые нотки, когда тот рассказывал о чем угодно, только не о том, что действительно могло заинтересовать хозяина. Прохор замаялся.

– Илларион Петрович Изюмов оперу пишет для Большого, – почему-то шепотом доложил он.

– Ах, шельма! – развеселился Чигринский. – Оперу? Для Большого? Ну, ну... И как он ее пишет? Стянул кусок у Глинки, кусок у Верди и думает, что никто ничего не заметит? Только в Большом и способны слопать такую пакость...

– Он с репортером беседовал, который расспрашивал его о творческих планах, – мрачно молвил Прохор. – И среди прочего сказал, что в отличие от вас стремится к настоящей славе, потому как простые песенки ее не доставят, а опера, балет – это серьезно...

– Прощка, да ты что, совсем дурак, что ли? – уже сердито вскричал Чигринский. – Какая опера, какой балет? Думаешь, это так, сел, решил: ах, я сейчас напишу оперу! – и готово? К славе он, видите ли, стремится! – продолжал композитор, в волнении ходя по спальне. – Скажите, пожалуйста, какая цаца! Оперу просто так не напишешь, да-с! Заметь, я говорю о простой опере, даже не о том, чтобы сделать что-то стоящее... Сюжет нужен, а где его взять? Все подходящие уже растаскали, все же нынче умники... Затем: либретто! Героиня поет, а ведь она должна петь о чем-то? То же и герой! Вон, драматургам хорошо... Островским всяким... Шекспирам! Сел за стол и строчи что хочешь, никто не указ! Им ни с кем сотрудничать не нужно... Кто мне будет либретто писать, а? – грозно спросил Чигринский, нависая над съезжившимся слугой. – Алешка, что ли? Стану я его такими пустяками волновать, когда он в санатории лечится! Пригласишь другого... так он, подлец, с порога начнет расписывать, сколько процентов прибыли ему должно причитаться... это когда еще ни сюжета, ни строчки не написано, ничего! И что? Мне лезть в эту кабалу? Ладно еще что приличное будет, а если такая чепуха, что не приведи господи? Как мне это на музыку класть?

– Но ведь вам писали... предлагали услуги... – напомнил робко Прохор. – Если, мол, что, то вы можете на них рассчитывать... И писатели вполне известные...

Чигринский махнул рукой и рухнул в кресло.

– Э, в том-то и дело, что я ни на кого рассчитывать не могу! «Опера, балет», – свирепо передразнил он. – Все это замечательно, но – не вышла у меня песня... или Алешкины стихи подкачали, или я сам сплеховал, что я делаю? Правильно: пишу другую, а он сочиняет другие стихи. И публика очень быстро забывает о неудаче... А теперь представь: я, которого то и дело попрекают, что он в консерваториях не учился и музыкального образования не имеет, полезу в оперу... или балет, неважно! Ведь это не на неделю работы и даже не на месяц... а ну как она провалится? А ведь провалиться может по какой угодно причине: главная певица будет не в духе, а они всегда не в духе, или с декорациями напортачат... или еще что-нибудь... И знаешь, кто тут самый первый враг? Не публика, хотя она глупа до безобразия, не болваны, которые

пишут рецензии и охаивают все, что не относится к их собственным приятелям... а вот эти вот... жрецы искусства, чтоб им пропасть! Сочинил свою «Спящую красавицу» Чайковский, и что ему говорит балетмейстер Петипа? Именно Петипа, который в музыке – как считается – собаку съел... Петипа с важным видом говорит: пардон, месье, но у вас не танцевальная музыка, под нее танцевать нельзя, это не балет... Здорово, да? Так бы и пропал Чайковский вместе со своей работой, если бы не император, который сказал: «А я говорю – танцуйте...» Ну и что хорошего ждать в стране, где самодержец лучше разбирается в музыке, чем профессионал? – яростно спросил Чигринский у безответной луны на картине. – Ничего!

– Я верю, вы могли бы написать значительную вещь, – твердо ответил Прохор. – Когда-нибудь, когда у вас будет ваш сюжет... когда все сойдется, как надо...

Чигринский хотел сказать что-то резкое, но поглядел на лицо верного слуги и только ворчливым тоном осведомился, где завтрак.

До появления Прохора Чигринский не признавал столовых и ел – то есть перекусывал на скорую руку – либо в спальне, либо в своем кабинете, но постепенно слуге удалось приучить композитора к мысли, что все-таки принимать пищу надо в комнате, специально для этого предназначенной. Стоит отметить, что Прохор порядочно потрудился над тем, чтобы эту комнату украсить, хотя Чигринский по привычке не обращал внимания ни на французскую мебель, ни на старинные серебряные подсвечники, ни на тяжелые шторы из синего бархата.

Бросив взгляд за окно, Дмитрий Иванович помрачнел. Погода была истинно петербургская: сверху что-то серое под названием небо, внизу вода, тоже серая, а между ними зажат, как в клещах, черный город.

– Сволочь этот Петр, – горько молвил Чигринский.

Прохор, который силился понять, какого именно Петра хозяин имеет в виду, взглянул на него непонимающе.

– Да, да, Петр Первый, – пояснил композитор, давая волю своему дурному настроению. – Обязательно ему надо было втиснуть Петербург на эти постылые берега... и кто его просил, спрашивается? Не мог для столицы империи подыскать чего-нибудь получше, покрасивее да потеплее... Есть же, в конце концов, такие города, как Одесса...

– Во времена Петра Алексеевича Одессы еще не было, – напомнил Прохор, которого слегка покорила фамильярность хозяина. Сам Антипов чрезвычайно уважал царскую фамилию и не одобрял замечаний в ее адрес. – Она тогда у турок была, ее только при Екатерине Великой завоевали.

– Ну так отбил бы ее у турок, – хмыкнул Чигринский, помешивая кофе. – Подумаешь, важное дело... А Киев? Что ему мешало, спрашивается, столицу в Киев вернуть? Мать городов русских, как-никак... хотя, конечно, – с озорством добавил он, – какая из Киева мать, когда он мужского рода?

Прохор фыркнул.

– Или Екатеринодар, например... А, нет, этот тоже позже основан...

– Вам не к лицу так отзываться о государе императоре, – не удержавшись, наставительно заметил Прохор.

– А? – удивился Дмитрий Иванович, который успел уже все позабыть. – Ты это о чем?

– Ну вот вы только что сказали о Петре Алексеевиче...

– Что он сволочь? Конечно, сволочь, – решительно ответил бывший гусарский офицер. – Собственного сына порешил... За такое в Сибирь ссылают, между прочим.

Прохор понял, что хозяина ему не переубедить, и почел за благо умолкнуть.

После завтрака Чигринский уселся в углу парадной гостиной и стал просматривать почту. Это была та самая гостиная, где на толстом ковре тосковал рояль, чьи клавиши никогда не тревожила рука композитора. Порой, когда к Дмитрию Ивановичу являлись фотографии, он позировал им именно здесь, стоя возле рояля. Сам он не любил свои фото и вообще смотреть на

себя не любил. Внешность у него была заурядная, штабс-капитанская – армия все же оставила на нем значительный отпечаток; и пальцы толстые, как сардельки. Глядя на них, даже как-то не верилось, что их обладатель способен сочинять такие нежные, хватающие за душу мелодии.

Письмо от Нередины Чигринский стал читать в первую очередь, но оно было такое длинное и запутанное, что разобраться в его сути оказалось нелегко. Бросив взгляд на пачку оставшихся писем, композитор крикнул:

– Прощка! Помоги мне разобрать письма... Бери те, которые от незнакомых, и читай. Если что важное, сразу говори... Да не стой ты, садись, не маячь перед глазами!

Едва дыша от оказанной ему чести, Прохор приземлился в кресло по другую сторону круглого столика, на котором в беспорядке лежали конверты, и стал разбирать их.

– Это у тебя что за письмо? – через несколько минут заинтересовался Дмитрий Иванович. – У тебя аж нос ходуном ходит...

Прощка поджал губы.

– Некая Наталья Александровна Богомаз просит вас о помощи... шестнадцать детей сидят без хлеба, четверо болеют...

– Раз хватило ума слепить шестнадцать детей, должно хватить ума и на хлеб им заработать, – парировал Чигринский. – Знаю я этих просителей: сидят в мебелированных и день-деньской строчат письма о помощи, которые рассылают по адресам из справочника... А вместо шестнадцати детей дай бог шесть, и вовсе не больные, а такие, на которых пахать можно...

– Она уже четыре раза вам писала, – заметил слуга. – На прошлой неделе, кажется, детей было девять.

– Значит, за неделю еще семеро родились! – расхохотался Чигринский.

«Так-то оно так, – подумал верный Прохор, – а вот без меня бы вы последние деньги ей послали, которые она бы с радостью пропила...» Даже в мыслях он именовал Дмитрия Ивановича на «вы».

Прочие письма в мятых, замызганных конвертах оказались в том же роде, и Прохор не без удовольствия поглядел на конверт, который разительно отличался от предыдущих. Он был плотный, с гербом и монограммой и вид имел неприступный, как герцогиня на балу. Краем глаза слуга заметил, что хозяин тоже заинтересовался необычным конвертом.

– Что там? – небрежно спросил Чигринский, дочитывая последние строки нерединского письма.

– Баронесса Корф спрашивает, не почтите ли вы своим присутствием благотворительный вечер, который она устраивает, и не согласитесь ли сыграть на нем, – отозвался слуга, пробежав глазами короткое послание на надушенной бумаге.

– Корф? – Усы Чигринского воинственно встопорщились. – Немчуря? К немчуре не пойду, – категорично заявил он.

– Дмитрий Иванович...

– Я сказал – не пойду!

И по его виду Прохор понял, что спорить бесполезно.

Дмитрий Иванович не любил немцев. Точно так же не любил он греков, армян, евреев, французов, поляков, татар, грузин, – перечислять можно очень, очень долго. Самого себя он считал русским, хотя в его родословной встречались и некая очаровательная осетинка, вскружившая голову его прадеду, и француз, и дама из Саксонии, которую ветром странствий прибило к недолговечному двору Анны Леопольдовны, и татарский князь. Все эти люди, если бы удалось их собрать в одной комнате, чрезвычайно удивились бы тому, что им суждено было породниться через своего знаменитого потомка. Возможно, татарский князь вообще не ушел бы живым от пращура Чигринского, который имел обыкновение сажать татар на колья...

Но никакие предки иной национальности не могли помешать Чигринскому считать себя с головы до ног русским, равно как не могли помешать ему энергично презирать все нерусское,

если на него находил такой стих. Особенно он выходил из себя, если считал, что при нем задевают или пытаются унижить русский народ. Тогда он готов был лезть в драку и пререкаться до хрипоты, до самых обидных, самых оскорбительных высказываний. Об этой особенности композитора всем отлично было известно, и тем не менее никто не удивился, когда именно Чигринский, а не кто другой, дал пощечину пьяному зрителю, который на представлении в театре громко обозвал дирижера Азаряна «паршивым армяшкой». Скандал мог получиться нешуточный, потому что побитый зритель занимал весьма высокое положение, но вмешались влиятельные поклонницы композитора, и дело замяли, а ироничный Азарян прислал своему защитнику корзину алых роз, которую тот отослал обратно с советом послать их лучше графине С., которая была тогда любовницей дирижера. Азарян расхохотался и пригласил Чигринского в лучший петербургский ресторан.

– Ваша музыка мне нравится, – сказал дирижер после того, как они разделались с первыми блюдами и на подходе была очередная бутылка отличного вина. – Она искрится и заражает. Поверьте, это очень хорошо, но я вижу, что ваш талант шире, гораздо шире. – Он прищурился. – Почему бы вам не написать что-нибудь серьезное, к примеру, балет?

Чигринский терпеть не мог разговоров о широте своего таланта, а также о том, что ему следует (или не следует) делать. Поэтому он проглотил бокал вина и объявил, что у него нет идеи ни для балета, ни для оперы, ни для симфонии в четырнадцати частях с прологом и эпилогом.

– Жаль, – вздохнул Азарян. – Ваша музыка очень нравится балерине Малиновской, она говорила мне, что у вас она готова станцевать что угодно.

– Она не балерина, – отозвался Чигринский. – Да, она танцует первые партии, но...

Он имел в виду, что «балерина» было тогда почетным званием, которое вовсе не давалось по умолчанию всем, кто выступал в балетах на императорской сцене. И хотя Малиновская тогда царил в Мариинском театре и была так же знаменита, как и ее бриллианты, звание балерины эта талантливая танцовщица получила только через год.

– Я бы на вашем месте все-таки подумал, – заметил дирижер. – Коротко говоря, если вы когда-нибудь перемените свое мнение, я сочту за честь дирижировать у вас оркестром.

Чигринский пообещал подумать, но сам он ни над чем таким размышлять не собирался. Некоторые люди рождены для того, чтобы дышать театральной атмосферой, композитору же она казалась убогой и скучной. Ему претили интриги, которыми насыщена театральная жизнь, капризы звезд и вообще вся громоздкая машина, которая именуется театром. Он был проницателен и видел, сколько там случайных и малоталантливых людей и как горька бывает судьба людей талантливых, но не сумевших вписаться в жесткие рамки. Что касается публики, то Чигринский никогда ей не доверял – ни тогда, когда о нем никто не знал, ни тогда, когда он уже сделался знаменитым. Порой ему представлялось, что он только по чистой случайности сумел приручить какое-то многоголовое чудовище и что одна оплошность, о которой он может даже не подозревать, приведет к тому, что все рухнет. В конце концов, сколько было композиторов, которые начинали с блеском, а кончали свои дни в нищете? А ведь еще больше таких, кто на многое были способны, но так и не сумели ничего добиться...

Нет, ему не на что жаловаться: он не искал успеха и даже не помышлял о нем, тот пришел словно сам собой – и именно тогда, когда Чигринский был еще молод и мог насладиться всеми преимуществами удачи. Добиться славы в тридцать или в шестьдесят лет, даже в пятьдесят – большая разница. Поздний успех нередко озлобляет: ведь ему предшествовало столько разочарований...

«Уж не за свою ли раннюю славу я расплачиваюсь теперь?» – смутно подумал Чигринский.

Разобрав письма, он поднялся в свою келью, как в шутку иногда называл свое рабочее пространство. Стол, стул, низкий диван, ширма, пианино, за которым он написал все свои

вещи. Когда-то ему казалось, что именно это пианино приносит ему удачу. Но пианино стояло на прежнем месте, а музыки не было и в помине.

Насупившись, Чигринский закурил трубку, сделал круг по комнате, выглянул наружу. Он любил, чтобы из окна была видна река, но теперь вид Мойки, катившей свои воды, не вызывал в нем ничего, кроме раздражения. Он даже задернул занавески, чего с ним раньше здесь не случалось.

«Попробовать, что ли?»

Он сел за пианино и стал перебирать клавиши. За дверью послышался шорох: это Прохор уселся на стуле с пером и нотной бумагой наготове.

Когда Дмитрий Иванович был в настроении, он сочинял так быстро, что не всегда успевал записывать. Бывало и так, что он импровизировал, не записывая вообще и полагаясь лишь на свою память. Но однажды он таким образом упустил очень красивую, как ему казалось, мелодию. Она растворилась в окружающем пространстве, оставив лишь впечатление чего-то очень светлого, пропавшего по его вине. Два дня Чигринский ходил сам не свой, ероша волосы и куря трубки одну за другой, и наконец рассказал слуге о причине своих терзаний.

– Это, стало быть, то, что вы сочиняли в среду? – почтительно спросил Прохор. – Одну минуту-с...

И действительно, через минуту он принес несколько листков, покрытых нотными знаками. Чигринский схватил их, и его сердце забилось сильнее. То была она!

– Как же ты сумел? – удивился композитор. – Запомнил ты ее, что ли?

Прохор покраснел и признался, что уже некоторое время он записывает за хозяином, когда тот играет. Просто стоит за дверью и...

– Ну, стоять тебе больше не нужно, – засмеялся тронутый таким поклонением композитор. – В другой раз бери стул и устраивайся поудобнее.

Осмелевший Прохор предложил другое: он будет сидеть в комнате за ширмой, тихо, как мышь, когда хозяин сочиняет. Однако Дмитрий Иванович покачал головой.

– Не обижайся, Прохор Матвеевич, но я не могу сочинять в присутствии посторонних. Вот хоть кто угодно находится в одной со мной комнате – не могу!

...Печально, что и теперь Прохор сидит за дверью, тщетно ожидая, когда у хозяина пробудится вдохновение. А тот только и может, что играть чужие вещи. Чигринский сыграл кусок Моцарта, кусок Вагнера и какую-то сонату, автора которой начисто забыл.

– Прощка! – крикнул он. – Кто это написал?

– Шопен, – глухо донеслось из-за двери.

Клавиши нежно взвыли на разные голоса. Чигринский бросил играть и уронил руки на клавиатуру, а голову опустил на руки.

– Дмитрий Иванович...

Прохор тотчас же, как по волшебству, материализовался рядом с ним.

– Уйди, – глухо бросил композитор, не поднимая глаз.

– Дмитрий Иванович... Может, чайку?

Прохор не знал, зачем он это ляпнул. Но вот его хозяин поднял голову, и выражение лица у него было такое, что бывший регент попятился.

– Все бесполезно, – тусклым, каким-то обреченным голосом промолвил Чигринский. – Я не могу больше сочинять. Понимаешь? Не могу.

В комнате повисло молчание. Чигринский убрал руки с клавиш, которые протестующе загремели, но тут же умолкли.

– Может, вам, того, жениться? – несмело предложил Прохор. – Заведите семью, деток...

Вероятно, это было самое необычное утешение из всех возможных. Чигринский в первое мгновение так изумился, что даже разозлиться не успел.

– При чем тут это? – начал он заводиться. – Понимаешь, внутри меня больше нет музыки! Я кончился, я труп! На кой черт мне жениться и заводить семью? Что это изменит?

– Не знаю, – вздохнул Прохор, подходя ближе. – А может, вам поехать в Европу? Путешествие, смена обстановки...

Чигринский скривился. По правде говоря, он терпеть не мог перемещаться куда бы то ни было. Его раздражали железные дороги, суতোлка на вокзалах, несносные попутчики, обмен денег, карманные воришки и прочие прелести, которые подстерегают путешественников. И он вовсе не был уверен, что конечная цель путешествия – какой-нибудь швейцарский водопад или парижская авеню – стоят этих мучений. Если уж на то пошло, то и водопад, и Париж можно без всяких треволнений посмотреть на фотографиях, и вовсе не обязательно куда-то для этого ехать...

– Нет, – решительно промолвил композитор. – Дело вовсе не в обстановке. Если бы это было так, я бы просто перебрался в другой дом, и дело с концом.

Прохор задумался.

– Может быть, вы из-за Алексея Ивановича так расстроились? – предположил он, имея в виду болезнь поэта.

Однако для эгоиста Чигринского эта версия была в некотором роде не менее сногшибательна, чем предложение лечить отсутствие вдохновения женитьбой.

– А Алешка тут каким боком? – пожал он плечами. – В конце концов, болен он, а не я...

Он набил трубку и снова закурил. Минуты текли в молчании.

– Что же теперь будет, Дмитрий Иванович? – очень тихо спросил Прохор.

– А пес его знает, – устало ответил Чигринский.

Он выколотил трубку и, не удержавшись, заговорил снова:

– Как отрезало, понимаешь, как отрезало! За что? Почему? Не могу понять. То ли я уже истратил все, что мне причиталось... талант, понимаешь, одному дается чайной ложкой, а другому – черпай не вычерпашь... Может, я делал что-то не так... балетов не писал, что ли? – Он уныло покачал своей большой растрепанной головой. – Мне раньше музыка даже снилась, а теперь не снится. Засыпаю, как падаю в колодец...

У Прохора на глазах выступили слезы. Он отвернулся.

Глава 4

Посетитель

Если у вас болит живот, вы имеете полное право обратиться к врачу. Если болезнь затрагивает душу, на помощь обыкновенно зовут санитаров со смиренной рубашкой. Совершенно непонятно, однако, что делать, если вас покинуло вдохновение и вы больше не можете сочинять. Ясно только одно: никакие врачи тут не помогут, а средства вроде самоубийства чересчур радикальны и излечивают скорее от жизни, чем от ее тягот.

Да и сама потеря вдохновения, по правде говоря, вовсе не располагает к тому, чтобы откровенничать о ней с кем бы то ни было. Если бы Чигринский проигрался в пух и прах (как в удалые гусарские годы), если бы его оставила розовощекая Оленька, если бы молния ударила в него среди бела дня на Невском проспекте, он всегда бы нашел, с кем обсудить случившееся, и скорее всего не без пользы для себя. Но кому – исключая, само собой, верного Прохора – он мог признаться в том, что вдохновение бросило его, как любовница, которой он смертельно наскучил?

Музыкальным критикам, которые все как один – хоть и в разной степени – терпеть его не могли, потому что он прославился не по-русски быстро, легко и совершенно без их поддержки, не говоря уже об одобрении? Собратьям, многие из которых вообще отказывались признавать в нем композитора? Другьям, которых у него почти не было, потому что он полжизни провел в армии, а когда занялся музыкой, то круг его интересов резко изменился, и он просто вырос из своих знакомств, как другие люди вырастают из детской одежды?

И уж конечно, Дмитрий Иванович меньше всего хотел признаваться очаровательной Оленьке Верейской, даме своего сердца, что он исписался, совсем как какой-нибудь газетчик самого жалкого пошиба. Что она тогда будет о нем думать, в самом деле?

Тоскуя, Чигринский блуждал по бильярдной, до которой Прохор еще не успел добраться, потому что тут не было ни пыльных бархатных портьер, ни севрского фарфора, зато имелись старый бильярд и коллекция трубок, а на стенах висели холодно поблескивающие клинки. Собственно говоря, это была скорее курительная комната, чем бильярдная, потому что Дмитрий Иванович любил по вечерам посидеть здесь в одиночестве и выкурить трубочку-другую, размышляя обо всем и ни о чем. Бильярд же просто остался от старого хозяина.

Чувствуя себя куда более скверно, чем тогда, когда он, будучи еще гусаром, перепил скобелевского коктейля (кто не знает, это убийственная смесь водки с портером), глубоко недовольный собой, миром и своим положением в этом мире, Чигринский даже обрадовался, когда в передней затрещал звонок.

– Прощка! Кто там? – закричал композитор.

Судя по выражению лица Прохора, который появился на пороге, посетитель был им определен в ту категорию, с представителями которой хозяину ни в коем случае не следовало иметь дела.

– Господин Арапов, Модест Трофимович. – Слуга выдержал крохотную паузу. – Не думаю, что вам стоит его принимать.

– Почему это мне не стоит его принимать, а? – с любопытством спросил Чигринский. – Он что, прокурор или жандарм?

– Студент, – ответил Прохор с интонацией, которая заставляла подозревать в неведомом Арапове самое худшее.

– Проси, – заключил композитор и двинулся в парадную гостиную.

– Дмитрий Иванович, халат!.. – застонал бедный Прохор.

...Когда Арапов, не знающий, куда деться от смущения, вошел в гостиную, он увидел знаменитого композитора в умопомрачительном шлафроке с золотыми кистями, которым мог позавидовать сам китайский император. Даже если бы на месте молодого студента оказался человек куда более наблюдательный, он все равно решил бы, что перед ним чрезвычайно самоуверенный господин, у которого в жизни нет ровным счетом никаких проблем.

– Прошу вас, садитесь, Матвей Тимофеевич, – пригласил хозяин дома после обычного обмена приветствиями. – Чем могу служить?

Не смея поправить собеседника, который переврал его имя-отчество, Арапов трепещущим голосом поблагодарил за оказанную ему честь и едва не сел мимо кресла, но, по счастью, в последнее мгновение успел-таки собраться и приземлился на его край.

«Пожалуй, тут возни минут на десять, – думал Чигринский, глядя на открытое молодое лицо гостя, которое несколько портила россыпь мелких прыщиков. – Он попросит меня подписать карточку для невесты, которая без ума от моей музыки, произнесет тысячу благодарностей, без которых я отлично могу обойтись, и мы расстанемся, чтобы никогда больше не встретиться».

– Простите, сударь, но я даже не знаю, с чего начать, – признался Арапов, застенчиво глядя на Чигринского сквозь очки. – Когда шел сюда, в голове была целая речь, а как только переступил ваш порог... – Он поперхнулся конфузливим смешком.

– Смелее, молодой человек, смелее! – подбодрил его Чигринский. – Как говорится, смелость города берет...

«Начни уж прямо с того, что я гений, и не забудь прибавить, что твоя невеста – образчик всех мыслимых и немыслимых совершенств и что ты едва можешь дождаться окончания учебы, чтобы на ней жениться»⁴, – помыслил циничный композитор.

– Я очень люблю ваши песни, – выдавил из себя молодой человек. – Особенно те, которые на слова Нередина... В газетах писали о его болезни... я полагаю, это будет большая утрата для российской словесности, если Алексей Иванович умрет...

– Пока еще до этого далеко, – сказал Чигринский стальным голосом. Бог весть почему, но ему не нравился оборот, который принимал разговор.

– Значит, он выздоравливает?... – Молодой человек распрямылся в кресле, и Чигринскому даже показалось, что он слегка разочарован.

– Ну, Михаил Сергеевич, чахотка все же такая болезнь, которая за неделю не лечится... Доктора говорят, у него хорошие шансы, но выздоровление может затянуться...

– А! Да, конечно, – с облегчением заметил Арапов. – Просто... просто... Понимаете, Дмитрий Иванович, дело в том, что я сам... некоторым образом... то есть... Одним словом, я тоже сочиняю стихи, – сказал он и гордо поправил очки.

Чигринский закоченел.

Ох! Ну что ему стоило послушаться прозорливого Прохора и не пускать странного гостя на порог...

– И вы... – молвил композитор угасшим голосом.

– Да, я хотел взять на себя смелость рекомендовать вам некоторые из моих... моих вещей... Я знаю, что вы мастерски перелагаете на музыку любые произведения, Дмитрий Иванович... и мне показалось, что мои стихи...

И он уже залез в карман, подлец, и достал исписанную убористым почерком толстую тетрадь.

– Значит, вы пишете стихи? – мрачно спросил Чигринский, исподлобья косясь на гостя.

– Да.

– А почему не прозу?

⁴ Студентам в Российской империи жениться запрещалось.

Арапов удивленно взглянул на композитора.

– Почему не прозу? Почему... почему... Любопытный вопрос! Потому что проза... понимаете... проза жизни... нечто низменное, да? В конце концов, прозой может писать любой, в то время как поэзия...

– Нет, – отрезал Чигринский. – Не любой. – Однако он был достаточно светским человеком, чтобы все же выдать из себя подобие любезной улыбки. – Значит, стихи... Н-да-с. И много стихов вы напечатали, милостивый государь?

Арапов как-то замялся, и два розовых пятна проступили на его щеках.

– По правде говоря... В наше время...

Больше он ничего не сумел сказать и поднял на Чигринского умоляющий взор. Но скрестивший руки на груди композитор был неумолим, и так же неумолим (почудилось Арапову) был лоснящийся рояль, к которому прислонился хозяин.

– Да-с? – мягко спросил Чигринский.

– Начинаящему очень трудно напечататься, – пробормотал Арапов, пряча глаза. – Редакторы в журналах печатают только своих знакомых... и издатели тоже... В наши дни человеку, который чувствует в груди жар поэзии, пробиться сквозь эти косные ряды почти невозможно... невероятно сложно... Я знаю, о чем говорю, потому что столько раз пытался...

И, решив, что он достаточно высказался, посетитель раскрыл тетрадь и откашлялся.

– Стихотворение первое. «К морю».

...Тут Чигринский понял, что ему придется или убить студента прямо здесь, на месте, или покориться своей участи. В первом случае, разумеется, придется отвечать по всей строгости закона, во втором – страдать молча, причем неизвестно, сколько времени, потому что тетрадь была чертовски толстой и за первым стихотворением неизбежно должны последовать второе, третье и сто третье.

«Господи, – в смятении подумал Чигринский, – и чем я только провинился?..»

Тоскуя, он уставился на стену, потом на кисть от пояса, затем принялся вертеть ее, стал вертеть и вторую кисть, причем в противоположном направлении, но все было бесполезно – подвывающим голосом, по последней поэтической моде, юный непризнанный гений продолжал читать свои стихи.

В мире безбрежном и бесконечном
Нет ничего мне дороже тебя.
Куда б ни занес тебя ветер беспечный,
Не забывай никогда меня.

По правде говоря, Чигринский крепился долго – до пятого стихотворения, озаглавленного «Прекрасной», – но сейчас он просто не выдержал.

– Простите, Иван Ильич, но «тебя» и «меня» не рифмуются, – сухо заметил он.

Модест Трофимович Арапов поднял глаза на собеседника, и в лице его мелькнуло – да, Чигринский готов был в этом поклясться – нечто вроде снисхождения к композитору, который, даром что без пяти минут гений, ну ничегошеньки не понимал в современной поэзии.

– Рифмуются, – с восхитительной самоуверенностью объявил стихотворец.

– Не рифмуются. – Чигринский стиснул челюсти, на скулах его ходуном заходили желваки.

– Милостивый государь, – уже сердито промолвил студент, – если даже сам Пушкин в «Евгении Онегине» не стесняется рифмовать «колеи» и «земли...»

– Так то Пушкин, – отвечал безжалостный ретроград Чигринский. – Он срифмует корову и полено, с него станется.

– Но...

– Потому что он Пушкин, и обставит он все так, что это действительно будет восприниматься как рифма. А «тебя» и «меня» – не рифма.

В светлых глазах студента вспыхнула совершенно отчетливая злоба.

– Позвольте вам заметить, что Пушкин давно умер, – еле сдерживаясь, проговорил он. – Поэзия с тех пор шагнула далеко вперед!

– Может быть, и шагнула, – гнул свое упрямый Чигринский, – но «тебя» и «меня» все равно не рифма.

– Так что же мне писать? – слегка растерявшись, молвил студент.

– Не знаю. Вы же называете себя поэтом, а не я. И зачем у вас «безбрежный» и «бесконечный» в одной строке? Это синонимы, и одного слова тут вполне достаточно.

Арапов открыл рот.

– Сино...

– Они означают одно и то же. Зачем два раза повторять?

– Как – зачем? – изумился Арапов. – Но... затем, что... потому...

Больше ничего вразумительного он вымолвить не смог.

– И что это за беспечный ветер, который носит героиню? – добил его Чигринский. – Как он ее носит? Где? Она попала в ураган? Или героиня в данном случае – какой-нибудь обрывок бумаги, который действительно может унести ветром? Я, простите, совершенно не понимаю...

В гостиной воцарилось молчание. Студент был бледен и, кривя рот, смотрел в угол. Наконец гость выпрямился и закрыл тетрадь.

– Вам неинтересно то, что я пишу? – спросил он очень тихо.

– Простите, Максим Трофимович, – отозвался Чигринский, почти угадав, – но нет.

– У меня есть и другие стихи, – с надеждой прошептал студент.

– Я в этом не сомневаюсь, – вежливо ответил композитор, – но они меня не интересуют. – Он подумал, что бы такое сказать, чтобы утешить совершенно раздавленного молодого человека, и добавил: – И потом, я больше не буду писать песен.

– Почему? – удивился студент.

– Так. – Чигринский сделал неопределенный жест. – Не хочется.

Медленно, словно на ногах у него висели многофунтовые гири, Арапов стал подниматься с места. Но у него оставался еще один вопрос, который жег ему губы – и душу.

– Вы считаете, что я... что у меня... словом, что я недостаточно хорошо пишу?

– Я думаю, что вы славный молодой человек, – ответил композитор, которому теперь было немного неловко из-за того, что он так жестоко обошелся с иллюзиями своего посетителя. – В мире много замечательных вещей и помимо сочинения стихов. Любовь, например...

– Поэтому мои стихи никто не хотел брать, – задумчиво проговорил Арапов, не слушая его. – Ах, боже мой...

Его лицо исказилось гримасой отчаяния. Он сделал несколько шагов к двери, но потом, словно вспомнив что-то, повернулся.

– Простите... Я совсем забыл... Моя мама в восторге от вашей музыки... Она мечтала, чтобы я подарил ей на именины вашу карточку... с подписью...

– А, да, конечно, – сказал композитор, успокаиваясь. – Как зовут вашу матушку?

И самым красивым из своих почерков (который все равно чем-то походил на бегло записанные ноты) вывел на фотографии: «На добрую память Марии Владимировне Араповой. Дм. Чигринский».

Глава 5

Незапертая дверь

Так как впоследствии Дмитрию Ивановичу пришлось вспоминать этот день до мелочей, оказалось, что после ухода Арапова он пытался вздремнуть на диване до обеда (не вышло), взял газеты и стал читать их (убил примерно час), после чего снял с полки первый попавшийся роман и честно попытался забыть приключениями какого-то Аркадия Эрастовича, у которого было необыкновенно красивое лицо, невероятно доброе сердце и который на протяжении трехсот страниц совершал все мыслимые и немыслимые глупости. Приключения не увлекли Чигринского, потому что он с первых же страниц понял, что Аркадий Эрастович окажется незаконным сыном миллионера Халютина, который то и дело без особой надобности возникал в сюжете, и счастливо сочетается браком с княжной Коромысловой, которая тоже была образцом совершенства. С горя Чигринский прочитал последние страницы, потом вернулся к середине и тут заметил второстепенного персонажа, уморительного щеголя Плюкина, который тоже имел какие-то намерения в отношении княжны, но предпочитал вздыхать по ней издали. Плюкин блуждал по главам, то появляясь, то исчезая и всякий раз производя совершенно комическое впечатление, так что Чигринский уже не мог дожидаться, когда автор на время забудет о своих совершенных героях и вновь вспомнит о Плюкине, его забавной тросточке и его попугае по кличке Абрикос, который изрекал мудрые истины, но всякий раз совершенно не к месту и так, что Дмитрий Иванович едва не падал с дивана от хохота. И хотя книга была написана невозможным слогом и чуть ли не на каждой странице какая-нибудь красавица «заламывала свои белые руки» и луна «изливала мечтательный свет на княжеский сад», Чигринский закрыл ее с чувством, похожим на сожаление.

Он пообедал и стал блуждать по комнатам как тень, решительно не зная, чем занять себя и что вообще теперь делать. Внизу, в кухне, Мавра гремела посудой, за окном то и дело проезжали экипажи, напоминая, что жизнь не кончилась, а продолжается, нравится ему это или нет. Не выдержав бесцельного времяпрепровождения, Чигринский отправил Оленьке записку, что заглянет к ней сегодня вечером, и стал собираться.

– Я к Ольге Николаевне, – сказал он Прохору, когда тот вернулся и сообщил, что послание доставлено благополучно. – Когда вернусь, не знаю.

Снаружи во всей своей красе стояла петербургская весна, то есть такое время года, которое было названо весной согласно календарю, а на самом деле представляло собой нечто вроде гримасы зимы, которая решила напоследок хорошенько побаловать столичных жителей своим вниманием. У солнца, впрочем, как будто прорезалась совесть, и оно пару раз показалось между туч; но петербургское солнце скромно, так что ожидать от него щедрости было бы совершенно неразумно.

Отказавшись от извозчика, Дмитрий Иванович двинулся пешком. В витрине музыкального магазина была выставлена его фотография, и изображенный на ней субъект выглядел так по-гусарски нахально, что композитор, проходя мимо, укоризненно покачал головой.

«Ох уж эти фотографии! Впрочем, тогда я только закончил писать цикл романсов, познакомился с Оленькой, и все так удачно сошлось... А теперь черт знает что... не пишется, не сочиняется... Неписец!»

В самом деле, – продолжал он мысленно, подходя к кондитерскому магазину, – когда пишется – писец, когда не пишется – неписец... не путать с песцом, это совсем другой зверь...»

Он зашел в кондитерскую, купил торт и фунт конфет и велел доставить их на квартиру к Оленьке, после чего направился во французский винный магазин.

Оленька любила сладчайший, янтарного оттенка сотерн, и композитор заказал две бутылки этого дорогого вина, велел отправить его опять-таки к ней на квартиру.

Когда он вышел из магазина, солнце, очевидно, позабыв стыдливость, все-таки засияло в полную силу, и, когда композитор на мгновение повернул голову, ему показалось, что он видит в конце улицы смутно знакомое лицо. Но человек, отступив, быстро скрылся за углом, а Чигринский тотчас же забыл о нем.

По пути ему попался ювелирный магазин, и Дмитрий Иванович, повинуясь минутной прихоти, заглянул туда.

– Что вам угодно, сударь? Вы ищете подарок для дамы? – с надеждой спросил приказчик, видя, как Чигринский рассматривает украшения.

– Гм... я так, собственно... – неопределенно отвечал Чигринский, и тут ему на глаза попались обручальные кольца, кокетливо поблескивающие под стеклом.

«А может быть, в самом деле жениться? – внезапно подумал он. – Почему бы и нет, в конце концов... 38 лет, пора уж и остепениться...»

Но тут в мозгу его ожил другой голос, который Дмитрий Иванович помнил и не любил, потому что этот голос слишком хорошо знал его, и потому, что он всегда оказывался прав. Голос, о котором идет речь, когда-то нашептывал композитору, что из его службы в армии не выйдет ничего путного, потому что армию он в глубине души не переносит, хоть и кажется для нее рожденным; и именно голос некогда подстрекал его бросить все, понимаете, все, и поставить жизнь на одну карту – музыкальную.

«Тебе 38 лет, ну и что? Подумаешь, важное дело... И зачем тебе жениться? Брак – это значит обязательства, причем серьезные... то есть такие, к которым ты совершенно не готов. Ведь не готов же? Не говоря уже о том, что прелестная Оленька никак не подходит на роль жены...»

«Это я буду решать, кто подходит, а кто нет», – попытался Чигринский возразить голосу.

«Неужели? А ты знаешь, сколько любовников было у Оленьки до тебя, хотя она никогда о них не упоминает? И вообще... охота тебе становиться посмешищем, если ваша совместная жизнь вдруг не заладится?»

Хозяин магазина, который уже некоторое время рассматривал Чигринского, подошел к нему и взглядом отослал приказчика.

– Чем могу служить, Дмитрий Иванович? Если вы замыслили жениться, лучше колец, чем у нас, вы не найдете...

– Э... – пробормотал в замешательстве Чигринский, – в сущности... То есть ничего определенного... Я только смотрю...

Пора, пожалуй, уходить отсюда, помыслил он. Не то не успеет он опомниться, как ему всучат обручальные кольца, и тогда уж волей-неволей придется делать предложение.

– Любая дама будет рада такому подарку, – промолвил хозяин многозначительно. – Вот, смотрите...

Чигринский облился холодным потом и объяснил, что он не знает... не помнит размера Оленьки... то есть...

– Ради вас мы согласны заменить кольцо, если оно не подойдет, – с готовностью ответил его собеседник. – Это такая честь, Дмитрий Иванович... Моя супруга и ее матушка в восторге от ваших песен!

Тут Чигринский вспомнил о незаменимом военном маневре, именуемом бегством с поля боя и, пробормотав на прощание, что он обязательно будет иметь в виду, благодарит хозяина от души и пойдет как-нибудь в другой раз, скрылся.

Чтобы немного успокоиться, он отклонился от своего маршрута и вышел на набережную Невы. Река несла множество белых холодных льдин, которые покачивались в темной воде. В

былые времена одно это зрелище навело бы Чигринского на мысль о музыке, но теперь он не ощущал ничего, кроме пустоты, отдающей отчаянием и тоской.

– Дмитрий Иванович!

И тут его снова узнали, на него набросилась стайка румяных гимназисток, требуя немедленно сказать, когда появятся его новые вещи – когда Нередин вернется в Россию – правда ли, что он за границей влюбился в какую-то даму и оттого не хочет приезжать, – и подсовывая для подписи тетрадки и фотографические карточки.

Чувствуя себя безнадежным обманщиком и вяло улыбаясь, Чигринский криво расписался подsunутым ему пером. «Почему меня все это не радует? – спросил он себя. – Ведь ясно, что любой другой за такое внимание отдал бы... душу бы отдал, наверное...»

Учяув недозволенное скопление народа в публичном месте, неподалеку тотчас же материализовался городской в шинели и с шашкой на боку, но увидел Чигринского, узнал композитора, заулыбался и даже козырнул ему, как бывшему военному.

Когда Чигринский вырвался от гимназисток, терпеливо ответив на все их вопросы, шел уже шестой час, и композитор ускорил шаг.

– Ольга Николаевна дома? – спросил он у швейцара, который отворил ему дверь.

Чигринский знал, что Оленька всегда была дома, что не могло случиться такого, чтобы он назначил ей свидание, а она отлучилась куда-то; и все же, приезжая к ней, он никак не мог удержаться от этого лишнего, в сущности, вопроса.

– Дома-с, – отвечал важный седоусый швейцар, которого звали Тихон.

Чигринский поднялся по мраморной лестнице, устланной мягким ковром. Навстречу ему спускался Вахрамеев, редактор известной газеты, любовница которого также жила в этом доме, и мужчины приподняли шляпы, приветствуя друг друга.

Позже Дмитрий Иванович уверял, что почему-то вид Вахрамеева ему не понравился, и будто бы он даже ощутил нечто вроде скверного предчувствия. Однако на самом деле в то мгновение Чигринскому было забавно, что представительный Вахрамеев, который в прессе всегда выступал за крепость семейных уз и нерушимость брака, крадется по лестнице, как кот, а его раскормленная кокотка (как уверяла Оленька, а значит, это было правдой) обманывает редактора с лакеем, едва блюстителю уз скрывается за дверью.

Итак, Дмитрий Иванович поднялся в бельэтаж, подошел к двери Оленьки и дернул звонок. Никто ему не открыл. Он позвонил еще сильнее, толкнул дверь – и тут только заметил, что она не заперта.

«Ах, озорница! Ну конечно, раз я предупредил ее о своем приходе, она решила сделать мне сюрприз...»

Улыбаясь во весь рот, Чигринский вошел и на цыпочках двинулся вперед.

Он нашел Оленьку в гостиной, в большом кресле. Конфеты и торт из кондитерской лежали на столе, и там же янтарно и загадочно поблескивали бутылки сотерна. При появлении композитора молодая женщина не пошевелилась и не издала ни звука.

Приблизившись к ней, Чигринский увидел рукоятку ножа, торчащую у Оленьки из груди, и красное пятно, расплывшееся по розовому платью. Глаза Оленьки были широко раскрыты, но в них не отражалось ничего.

Глава 6

Страх и трепет

Как уже упоминалось, Чигринский был человек военный, то есть привычный к виду ран и к смерти. Однако гибель молодой женщины в этой кокетливой, дышащей духами квартире, посреди мирного города, произвела на него такое впечатление, что он был вынужден сесть, держа в руке свою шапку.

Убита! зарезана! средь бела дня! Господи, что ж это такое делается?..

Он был ошеломлен и чувствовал страшное, ни с чем не сравнимое опустошение. Раз только он приподнялся, чтобы звать на помощь, но ему показалось стыдно кричать караул – ему, взрослому человеку, бывшему гусару. И он бессильно опустился обратно на диван.

Часы пробили, и, поглядев на них, Дмитрий Иванович машинально отметил, что было без четверти шесть. В квартире царила тишина, и он вспомнил, что Оленька, обладавшая поразительным талантом не ладить с любой прислугой, которая к ней нанималась, недавно рассчитала очередную горничную. Об этом ему сегодня рассказал Прохор, относивший записку.

«Надо звать... кого звать? Швейцара, пусть он вызовет полицию... Чудовищно... просто чудовищно... Кто мог ее убить? За что?»

Пересилив себя, он поднялся с места (ноги словно налились свинцом) и, подойдя к Оленьке, потрогал запястье. Оно было еще теплое, и Дмитрия Ивановича передернуло. Однако он не уловил ничего, даже отдаленно похожего на пульс.

«Сказать Тихону... Он распорядится...»

Однако в этот раз Дмитрий Иванович не дошел до двери. Он вернулся обратно и сел на стул в углу, подальше от убитой.

Чигринский и сам не понимал, чего он ждет, но в его мозгу шла напряженная работа. Взять хотя бы шумевшее дело генеральши Громовой, размышлял он. Вместе с генеральшей были убиты еще две женщины, состоявшие при ней кем-то вроде приживалок. И кого с ходу обвинили в убийстве? Правильно: горничную, которая нашла тела.

Положим, он, Чигринский, не горничная и в случае чего сумеет за себя постоять, но факт остается фактом: мертвую Оленьку обнаружил именно он. Бог его знает, кто будет вести следствие, но что, если Чигринскому попадет какой-нибудь тупоумный служака, который станет подозревать композитора?

Нет, нет, мысленно вскрикнул он, это невозможно! Я не убивал ее!

Конечно, Чигринский *знает*, что не убивал; но как ему доказать свою невиновность? Да и потом, разве мало случаев, когда любовники ссорились и один из них после этого убивал другого...

Ссорился ли он с Оленькой? Конечно нет, если не считать их препирательств из-за денег (он давал любовнице все, но она, как все женщины, хотела еще больше) или, например, из-за того, что он не посвящал ей свои произведения. Но это же глупо, милостивые государи, из-за этого не убивают!

И тут в воздухе перед Чигринским соткался кто-то донельзя противный, инквизиторского вида, в мундире и пенсне. И бедный композитор услышал гнусавый, слегка растягивающий слова голос:

– Как знать, как знать... А не было ли у вас с покойной иных ссор? Часто ли вы встречались? Как познакомились? А ну-ка, поведайте-ка нам все подробности вашего романа, а мы, так уж и быть, решим, виновны вы или нет...

Чигринский махнул рукой, отбиваясь от удушающего кошмара, и в отчаянии заметался по комнате.

Влип! Попался, голубчик, угодил в историю... историю с убийством, черт подери! И не так уж важно теперь, сочтут его виновным или нет – важно то, что его наверняка будут подозревать, копаться в подробностях его жизни, вызывать на допросы... и вот тут-то ему сполна придется заплатить за свою славу, за то, что он известен и гимназистки на улицах просят у него автографы. Дай только этим полицейским волю, они душу из него вытрясут, и все строго по закону, с соблюдением всех формальностей...

Да что там полиция, ведь такое дело – убийство любовницы знаменитого композитора – не пройдет мимо газетчиков, и они в своих листках понапишут такого, что волосы дыбом встанут... Накинутся на него и заключат, зарежут писчими перьями, черт бы побрал этих борзописцев! Кого он, к примеру, только что видел на лестнице? Да Вахрамеева же! Узнает о случившемся Вахрамеев, почует простор его продажная репортерская душонка, и насочиняет он про моральные устои и их отсутствие, нагонит тысячи строк... а ведь что для редактора удачная тема, для него, Чигринского, – потеря репутации и медленная смерть. Его и так не любят коллеги – слишком легко он всего добился – и не любят критики, к мнению которых он никогда не прислушивался; зато теперь ему все припомнят. Набросятся всем скопом и будут пинать на все лады – что он, не знает людей, что ли? И старик отец, которого он видит от силы раз в год, должен будет читать все помои, которые выплескивают на его сына... это он-то, который (Чигринский точно знал), несмотря на их размолвку, не пропускал ни одного отзыва о его музыке и тайком завел для них особый альбом. Отец, который так им гордится, хоть и скорее умрет, чем признается в этом; а теперь, когда его сына произведут в подозреваемые, а то и в убийцы – что будет с ним? Ведь не выдержит старик, вытащит из ящика стола пистолет и пустит себе пулю в лоб... Кто тогда останется у Чигринского? Кроме отца, у него нет ни одной близкой души на свете; мать давно умерла, ни братьев, ни сестер у него нет, а всякие дальние родственники, которых он не признал бы в лицо при встрече, конечно, не в счет...

Дмитрий Иванович в изнеможении потер лоб. Бежать, бежать, пока не поздно; скрыться и никому не говорить, что вместо очаровательной Оленьки он застал в квартире ее окровавленный труп.

Так-то оно так, но все равно тело обнаружат, рано или поздно; кто последним был в квартире? – Чигринский, его видел швейцар внизу и еще один человек на лестнице. И тогда его молчание будет выглядеть еще более подозрительно...

«А если ее не найдут?» – спросил спасительный голос.

«Как это?» – удивился Чигринский.

«Обыкновенно. Обнаружат тело в другом месте, дорогие вещи исчезли... и никого рядом. Неосторожная ночная прогулка, убийство с целью ограбления... и при чем тут ты? Разумеется, ни при чем...»

Чигринскому стало жарко, так что пришлось сбросить пальто и шарф. Однако тут же он заметил, что ладони у него озябли, и потер их.

Вывезти труп, как-нибудь убедив Тихона, что он уехал с живой Оленькой... вот это, пожалуй, было бы дело.

Он посмотрел на неподвижную, безучастную Оленьку и почувствовал укол совести. «Я поступаю бесчестно», – сказал он себе. Но на одной чаше весов лежало мертвое тело женщины, которую он любил, а на другой – его собственная жизнь. И, как это обычно бывает, живое перевесило мертвое.

В голове у него еще не было четкого плана, но он вышел в переднюю, взял оттуда лучшую Оленькину шубу и, заметив, что так и не закрыл за собой входную дверь, с некоторым даже испугом запер ее и задвинул засов. После этого он вспомнил о двери черного хода, но запирать ее не было нужды: она и так была закрыта.

Вернувшись в гостиную, Чигринский на всякий случай задернул шторы и стал одевать Оленьку. У него возникло жуткое ощущение, что он возится с громоздкой и страшно неудоб-

ной куклой, но он был полон решимости дойти до конца. Нож, торчащий из раны, мешал застегнуть шубу, и Чигринскому пришлось его вытащить.

Он начал застегивать шубу, потом спохватился, принес шарф, шляпку, перчатки и ботинки. Шляпка никак не хотела сидеть на голове, и Чигринский вспомнил, что нужны эти... как их... шляпные булавки.

Дмитрий Иванович заметался, выдвигая и задвигая ящики, в которых лежали пустые и початые флаконы духов, письма, разные мелочи женского туалета, и наконец нашел одну булавку рядом с подвязками. Теперь Оленька была совершенно готова, и он усадил ее обратно в кресло.

В следующее мгновение он услышал, как звонят в дверь.

– Ольга Николаевна! Ольга Николаевна, это я, Соня...

Чигринский застыл на месте. Впрочем, застыл – не вполне точное слово; вернее будет сказать, что Дмитрий Иванович обратился в столп невыразимого ужаса.

Почему он так испугался прихода бывшей горничной Оленьки? Он ведь никого не убивал, он не был преступником. Конечно, его можно упрекнуть в том, что он пожелал окончательно отвести от себя подозрения и приготовился запутать следствие, но...

– Ольга Николаевна! Вы же обещали мне заплатить сегодня...

– Чего шумишь, не одна она... Завтра приходи.

С огромным облегчением Чигринский узнал голос Тихона, который, очевидно, тоже поднялся с горничной на второй этаж.

– Да отпусти ты меня! – зашипела Соня на швейцара, который, судя по всему, намеревался ее увести. – Она обещала мне заплатить и рекомендацию дать...

– Ох, не вовремя ты пришла... Я же сказал: не до тебя ей. Завтра приходи.

– Тихон, отпусти руку!

– Не бузите, Софья Андреевна... Идем! Ни к чему господам мешать...

Чувствуя себя совершенно разбитым, Чигринский на цыпочках сделал несколько шагов к портюере и, выглянув наружу, через минуту увидел, как уходит по улице Соня и как возмущенно колышет ее шляпке одинокое перо.

«А если бы у нее был ключ? А если бы... если бы...»

Додумывать Дмитрий Иванович не стал. Повернувшись, он увидел на столе нож, который вытащил из жертвы, и содрогнулся.

«Это нельзя здесь оставлять...» И он сунул нож в свой карман – лишь бы не видеть больше окровавленное лезвие.

Осмотрев комнату, он убедился в том, что больше ничто в ней не указывало на свершившееся убийство. Внезапно ему в голову пришла еще одна мысль, и он бросился искать шкапулку, в которой Оленька хранила свои драгоценности.

Все они оказались на месте, что немало озадачило композитора. Он мог еще представить себе, что Оленьку убили из-за денег, но теперь все запуталось окончательно. Некто проник в квартиру и нанес один удар ножом спереди. Убийца видел, как Оленька умирала... Руки Чигринского сжались в кулаки.

Как преступник вошел сюда? Она сама впустила его? Или он сумел пробраться без ее ведома? Входная дверь не была заперта, когда появился Чигринский. Значит ли это, что у убийцы не было ни ключа, ни отмычки и Оленька его впустила? Почему? Почему?

И самый главный вопрос, который не давал Чигринскому покоя: за что кто-то мог так возненавидеть Оленьку, чтобы лишить ее жизни? Она была беззаботна, как птичка, и никому не причиняла зла. Так за что же ей такая несправедливая, страшная смерть?

Какое-то время Чигринский боролся с искушением вызвать Тихона и все ему рассказать, чтобы швейцар позвал полицию. Но после всего, что Дмитрий Иванович уже натворил, это было равносильно самоубийству. Любой полицейский в данных обстоятельствах счел бы его

преступником, который пытался замести следы и лишь по малодушию остановился на полпути. Но как раз малодушия он не мог себе позволить.

Убедившись, что на улице уже темно, Чигринский собрался с духом и спустился вниз.

– Ольга Николаевна хочет ехать кататься... Я проиграл ей пари и пообещал носить ее сегодня на руках. Позови извозчика и скажи мне... скажи нам, когда он будет...

Тихон поглядел на барина и, отметив, что тот красен и волнуется, пришел к вполне естественному выводу, что Чигринский выпил больше сотерна, чем следует. Если бы речь шла о ком-то другом, то швейцар про себя немедля зачислил бы его в тайные пьяницы, но композитору почему-то Тихон согласен был простить и не такое. Взять хотя бы Вахрамеева – по мысли швейцара, редактор был всего лишь непристойный господинчик, а Дмитрий Иванович, тоже содержавший любовницу, к которой время от времени наведывался, почему-то воспринимался как широкой души человек, и только. Бывают же счастливцы, которым все сходит с рук – точно так же, как и несчастливцы, которым на роду написано расплачиваться не только за свои грехи, но и за чужие. В данный момент Чигринский некоторым образом сочетал в себе обе эти ипостаси, хотя швейцар, разумеется, даже не подозревал об этом.

– Не извольте беспокоиться, Дмитрий Иванович, – почтительно сказал Тихон. – Будет сделано...

Через несколько минут композитор вынес закутанную Оленьку на руках, усадил в экипаж и сам устроился рядом с ней.

– Куда ехать-то, барин? – спросил кучер.

И действительно, куда, растерялся Чигринский. Может быть, к Неве и...

Нет, осадил себя Дмитрий Иванович, этого он делать не будет. Никогда! Бросать Оленьку в воду, чтобы потом опознавать раздувшийся, страшный, обезображенный труп... Он содрогнулся. Голова мертвой сползла ему на плечо.

– Мы просто катаемся, – проговорил он, пытаясь сохранить спокойствие и поправляя тело, сидящее с ним рядом. – Поехали за город. И... и, пожалуйста, не очень гони, мы никуда не спешим...

Извозчик кивнул, и лошадь медленно затрусила по улице. Оленька стала сползать с сиденья. Чигринский подхватил ее и вернул обратно. В свете фонарей он видел ее лицо – мертвенно-бледное, с чертами, которые уже начала обтягивать кожа, отчего они стали казаться заострившимися.

«Danse macabre... voyage macab»⁵, – мелькнуло у него в голове.

Дмитрий Иванович чувствовал себя ужасно, и не только потому, что разыгрывал это нелепое представление и сидел в одном экипаже с мертвецом. Ужаснее всего было то, что он, который в глубине души считал себя как-никак человеком чести, не мог отделаться от мысли, что поступает как последний подлец, трус и даже хуже того. То обстоятельство, что на свой поступок он решился вовсе не от хорошей жизни, ничуть не утешало композитора.

Они ехали по Английской набережной, мимо аристократических особняков, застывших в сумерках. И тут фортуна, сочтя, очевидно, что она и так слишком долго была благосклонна к Дмитрию Ивановичу, окончательно отвернулась от него.

Сначала он услышал громкий треск, потом его отшвырнуло куда-то в сторону, и экипаж, подпрыгнув и завалившись набок, остановился.

– Ах ты!.. – ругался кучер. – Колесо!.. Ах, чтоб тебя!..

Одним словом, экипаж не выдержал езды по сокрушительной петербургской мостовой, и надо было выходить.

– Сколько я тебе должен? – мрачно спросил Чигринский, потирая ушибленное плечо.

⁵ Пляска смерти, путешествие трупа (фр.). Средневековая аллегория (обычно в живописи и скульптуре), когда процессия мертвецов (символизирующая смерть) увлекает за собой живых.

– Да как же мне брать деньги-то с вас, барин? – жалобно проныл извозчик, но тут же сменил тон на деловой и деньги-таки взял.

Видя, как Чигринский выбирается из кареты, неся на руках бессильно обмякшее тело Оленьки, кучер невольно забеспокоился.

– Барин! Я ж не виноват... Столько ездил, и никогда никаких происшествий...

– Это не по твоей вине, – быстро ответил Чигринский, отступая. – Даме еще до того стало плохо, я несу ее к доктору...

– Сударь!

Ехавшая за ними карета подкатила к тротуару. Дверца отворилась.

– Если ваша спутница пострадала, я могу отвезти вас к врачу.

Голос, доносившийся из глубины экипажа, был женский, молодой, но – как показалось Чигринскому – самоуверенный до того, что казался неприятным.

– Благодарю вас, сударыня, – отозвался он, – но мы справимся сами...

– Вы обронили шляпку, – заметила дама, выходя из кареты.

Чигринский покосился туда, куда глядела незнакомка, и увидел, что точно, шляпка Оленьки вместе со злополучной булавкой свалилась на тротуар.

Позже Дмитрий Иванович уверял, что он не успел даже пошевелинуться, а дама, от которой пахло сиренью, уже подобрала шляпку убитой и подошла к нему. В сумерках он видел, как загадочно блестят глаза незнакомки. Неожиданно выражение ее лица переменилось.

– Да она мертвая, – нахмурилась дама, видя застывшие черты Оленьки, и строго поглядела на закоченевшего от ужаса композитора. – Может быть, вы объясните, милостивый государь, что происходит?

И тут Чигринский понял, что он погиб.

Глава 7

Особняк на Английской набережной

Когда Дмитрию Ивановичу случалось раньше читать о том, какое облегчение испытывают преступники, когда их наконец хватают, он только пожимал плечами и вообще был склонен считать подобные утверждения нелепой авторской фантазией. Однако теперь, когда его самого, можно сказать, поймали, он не мог не признаться себе, что ему действительно стало легче от сознания, что все кончилось и ему больше не надо скрываться, прятать тело и дрожать, что его изболчат. О том же, что вслед за этим должно будет начаться, он благоразумно предпочитал не думать.

– Кто вы, собственно, такой? – спросила дама, хмурясь. В руках у нее по-прежнему была кокетливая Оленькина шляпка с криво воткнутой в нее булавкой.

– Я Дмитрий Иванович Чигринский, – с достоинством промолвил композитор, поудобнее перехватывая труп в тяжелой шубе, который так и норовил сползти на землю.

– Чигринский? – Дама приподняла брови, и он уловил в ее глазах искорку интереса. – Так вы тот самый музыкант?

Для человека с трупом на руках, находящегося в центре столицы и в какой-нибудь сотне шагов от ближайшего городского, момент был крайне неподходящим для того, чтобы возмущаться, однако Чигринский все равно возмутился.

– Я не музыкант, сударыня, – обидчиво заметил он. – Я композитор.

– Вот как?

Только женщины умеют вложить в короткую реплику столько оттенков – легкую иронию, помноженную на сознание своего собственного превосходства, снисходительность, любопытство и бог весть что еще. Но Чигринскому было достаточно иронии и снисходительности, чтобы он надулся.

– И куда же вы, господин композитор, спешили со своей ношей?

Дмитрий Иванович открыл рот, чтобы ответить, и тут в голову ему пришла спасительная мысль.

– Я спешил к врачу, – объявил он.

Оленькина рука свесилась почти до самой земли.

– Боюсь, врач вашей спутнице больше не понадобится, – спокойно заметила дама.

– Может быть, вы и правы. Но я надеялся... хотел думать... – Он сбился и замолчал.

Дама смерила его взглядом, который заставил Чигринского поежиться. С реки дул холодный ветер.

– Мой дом совсем недалеко, – сказала наконец незнакомка. – Предлагаю продолжить наш разговор там.

За минуту до этого Чигринский был уверен, что их разговор закончится вызовом полиции, и нельзя сказать, что предложение дамы, от которой веяло сиренью, его не обрадовало.

– Как вам будет угодно, сударыня.

Его собеседница подошла к кучеру своей кареты и вполголоса отдала какое-то приказание.

– Вот мой дом, – сказала незнакомка, оборачиваясь к Чигринскому и показывая на стоящий неподалеку особняк. – Полагаю, мы можем обойтись без экипажа.

Дмитрий Иванович понял, что дама, несмотря на его заверения, продолжает держать его на подозрении и вызвалась сопровождать Чигринского, чтобы он не ускользнул. Кроме того, даже петербургские сумерки не помешали ему заметить, что она хорошенькая, одета дорого и со вкусом – сочетание, в России встречающееся не так уж часто, – и молода. Но хотя в незна-

комке не было ровным счетом ничего отталкивающего и до сих пор она вела себя вовсе не враждебно, Чигринский вынужден был признать, что она ему не по душе.

Впоследствии Дмитрий Иванович пытался вспомнить, как он вошел в особняк, держа на руках мертвую женщину, и как на него смотрели слуги, которых наверняка должно было озадачить все происходящее. Но он запомнил только небольшую гостиную на первом этаже, где был мраморный камин, а напротив него – кожаный диван.

– Кладите ее сюда, – распорядилась дама.

Незнакомка была уже без пальто, без шляпы и без перчаток, но где и как она избавилась от них – Чигринский не помнил, хоть убей. Шляпка Оленьки лежала на столе, но, как она оказалась там, он тоже не помнил. Иногда ему казалось, что он двигается, как во сне, и все происходящее – тоже сон.

– ...Александрю Богдановичу...

Он опомнился. Незнакомка о чем-то негромко говорила со слугой у дверей.

– Госпожа баронесса, а если... – Слуга оглянулся на Чигринского и понизил голос.

– Скажете, что дело чрезвычайной важности. – Дама немного подумала и добавила: – И по его части. Разумеется, сейчас уже поздно, и если он не сможет приехать сегодня, то пусть заглянет ко мне завтра утром.

Слуга удалился, а дама повернулась к измученному композитору. Она и в самом деле оказалась молода – лет 25 или 27, – белокура, и в ее золотисто-карих глазах вспыхивали искорки, которые наверняка заинтриговали бы любого другого мужчину, если, конечно, его не угораздило быть замешанным в убийстве, пусть даже он его не совершал.

– Кто она? – спросила золотоглазая дама, кивая на тело на диване.

– Верейская Ольга Николаевна. Из мещан, бывшая актриса... – Чигринский поймал себя на том, что стал пересказывать какие-то глупые паспортные данные, рассердился и замолчал.

Золотоглазая подошла к Оленьке, расстегнула шубу, развязала шарф и стала внимательно рассматривать рану. Чигринский терпеливо ждал, когда хозяйка завизжит и упадет от увиденного в обморок, но так и не дождался.

– Ее ударили чем-то вроде ножа, – констатировала его странная собеседница. – Где он? Дмитрий Иванович спохватился, достал нож из кармана и подал ей.

– Почему вы вытащили его из раны? – строго спросила незнакомка.

– Потому что иначе я не мог застегнуть шубу, – честно ответил Чигринский.

– Допустим, – протянула незнакомка, кладя нож на стол. Она вытащила из шкафа белое покрывало и набросила его на тело. Чигринский стоял, переминаясь с ноги на ногу, и гадал про себя, что будет дальше.

– А теперь расскажите с самого начала, что именно произошло, – велела незнакомка, садясь в кресло. – Может быть, вам удобнее все же снять пальто?

Дмитрий Иванович спохватился, засуетился, стал стаскивать верхнюю одежду, но рука застряла в рукаве, и если бы не горничная, которую хозяйка вызвала звонком, он бы еще долго кружил на месте, пытаясь избавиться от пальто.

– Итак? – промолвила незнакомка, когда горничная удалилась, унося с собой пальто и шляпу Чигринского. – Я жду объяснений, Дмитрий Иванович, так что присаживайтесь и рассказывайте.

Чигринский немного подумал, потом, опустив ненужные, как ему казалось, подробности, стал рассказывать, как он решил навестить Оленьку, как заказывал вино и сладости, как приехал к ней и в каком виде ее нашел.

– Где это произошло?

– Фонарный переулок, дом Ниндорф.

– И вы решили везти ее к врачу?

– Именно так.

– Вы не поняли, что она мертва?

Чигринский насупился.

– Я надеялся, что врач сможет сделать что-нибудь... Боюсь, я плохо соображал тогда. Мне казалось, что этого просто не может быть...

Дама поглядела на него и с жалостью (как показалось Чигринскому) покачала головой.

– В доме Ниндорф живет доктор Матвеев, он принимает пациентов круглые сутки, – веско уронила она.

Чигринский открыл рот, но понял, что ему никак не изобрести причины, по которой он повез Оленьку куда-то за тридевять земель, в то время как врач находился совсем рядом, и рот закрыл.

– Это вы ее убили? – спокойно и даже как-то буднично осведомилась дама.

Дмитрий Иванович аж на месте подпрыгнул от такого предположения.

– Конечно нет! – возмутился он. – Когда я пришел, она уже была мертва.

– Но вы все-таки решили спрятать тело, чтобы подозрение не пало на вас?

Тут Чигринский окончательно убедился, что попал в какой-то кошмарный сон, и от души пожалел, что его не арестовали настоящие полицейские, а допрашивала в гостиной аристократического особняка неизвестная дама, не имеющая на то никаких прав.

– Я не понимаю, сударыня... – пробурчал он. – И мне даже как-то странно слышать... Я композитор, я пишу музыку, а такое отвратительное происшествие... убийство беззащитной женщины... – Он гадливо передернул плечами.

– Но вы же не вызвали ни швейцара, ни дворника⁶, а попытались увезти тело с места преступления, – тихо заметила дама. – Что еще я должна подумать?

Чигринский не знал, что она могла подумать, но лично он думал, что дама замужем за каким-нибудь следователем или сыщиком и набралась от мужа таких навыков, которые обычной женщине совершенно ни к чему.

– Почему я должен был куда-то увозить тело? – с неудовольствием спросил он. – Я же говорю вам... простите, не знаю, как вас зовут... Так вот, я говорю, что не убивал ее.

– Меня зовут Амалия Константиновна Корф, – отозвалась его собеседница. – А увезти ее вы пытались, потому что решили, что это убийство дурно отразится на вашей репутации. Не так ли?

И тут Чигринский рассердился по-настоящему.

– Да при чем тут репутация, плевать я хотел на то, что обо мне говорят! Если бы речь шла только обо мне...

Он осекся, но было уже поздно.

– Значит, вы все же испугались, – уронила Амалия, зорко наблюдая за ним. – И решили принять меры.

– Я не испугался, – воинственно бросил Чигринский. – Вам легко рассуждать, потому что вы не понимаете, что я тогда испытал. В убийстве генеральши Громовой обвинили человека, который нашел тело. Я виноват только в том, что нашел Оленьку мертвой. Что еще я мог сделать? Позвать полицию? Я бы первым оказался у них на подозрении, а газетная свора смешала бы меня с грязью!

– Нет, если бы вы сразу же бросились вниз, к швейцару или дворнику, и сказали им, чтобы они вызвали полицию, – парировала Амалия. – Конечно, вас бы допросили, но для того, чтобы кого-то начать подозревать, нужны веские основания. Швейцар бы наверняка вспомнил, что вы поднялись вверх веселый и довольный, предвкушая приятный вечер, а вниз сбежали очень быстро, то есть у вас фактически не было времени на то, чтобы совершить убийство.

⁶ Дворник во времена Российской империи нередко был лицом, тесно связанным с полицией, и следил за общим порядком в доме.

Не исключено, что врач бы установил точное время смерти жертвы и выяснил, что вы вообще находитесь вне подозрений. И расследование пошло бы по обычному пути, то есть стали бы искать другого человека, который имел мотив и возможность убить вашу знакомую. А теперь из-за ваших необдуманных действий все запуталось, и любой полицейский имеет все основания подозревать прежде всего вас.

Чигринский вздохнул. Он и сам понимал, что все запуталось, причем безнадежно, и не видел, как ему выбраться из сложившейся ситуации.

– Вы правы, я должен был сразу же позвать Тихона, – признался он. – Но все это случилось так внезапно... Я никак не ожидал. Просто я думал... думал о...

Еще не хватало, одернул себя Дмитрий Иванович, чтобы он жаловался на «неписец» этой красивой, спокойной и неприятной даме.

...Да и разве она способна понять его?

Глава 8

Зеленый рояль

– Кто ее убил? – спросила Амалия. – Точнее, кто мог это сделать?

Чигринский пожал плечами.

– Я уже думал об этом. Боюсь, я не знаю никого, кто мог бы желать Оленьке... Ольге Николаевне зла. У меня как-то в голове не укладывается...

– Вы хорошо ее знали?

– Разумеется.

– И у нее совсем не было врагов?

– Мне о них ничего не известно.

– Значит, вы знали ее плохо, – улыбнулась Амалия. Чем дальше, тем меньше она нравилась Чигринскому, хотя до сих пор он решительно ни в чем не мог ее упрекнуть. – Хорошо, а как насчет вас?

– Меня? – изумился композитор.

– Если принять вашу гипотезу, что у Ольги Николаевны врагов не было, ее могли убить, чтобы бросить тень на вас. Разве не так?

– Сударыня, – проворчал Чигринский, – я прошу прощения, но это... Это черт знает что такое!

– Сладости и вино были на столе, – задумчиво проговорила Амалия, и глаза ее сверкнули. – Значит, когда их доставили, она была еще жива. В пользу этого говорит и тот факт, что, когда вы пришли, тело было еще теплым. Получается, она была убита незадолго до вашего прихода и человеком, которого, судя по всему, не опасалась. Вы предупредили ее запиской, что будете, так что кто-то мог узнать об этом и использовать против вас. Ценные вещи, как вы говорите, остались на месте... Ну же, Дмитрий Иванович! Вы ведь именно потому хотели увезти тело, что решили, что вас могут обвинить... а что, если так и было задумано? Так что насчет ваших врагов, милостивый государь?

– У меня нет врагов, – сухо сказал Чигринский. – Во всяком случае, таких, которые убивают женщин, – добавил он с обидой, неизвестно к кому относящейся.

– Позвольте вам не поверить, милостивый государь, – живо возразила его собеседница. – Вы человек известный...

Чигринский попытался принять вид скромного гения, который тут совершенно ни при чем, и это почти ему удалось.

– И талантливый...

Щеки Дмитрия Ивановича слегка порозовели, он молча наклонил голову.

– Хотя вот уже который раз манкируете моим приглашением на благотворительный вечер, – задумчиво продолжала хозяйка. – Но это к делу не относится. Суть вот в чем: невозможно в России быть известным и к тому же талантливым... и не иметь врагов.

– Вы, кажется, что-то имеете против России, сударыня? – сипло осведомился композитор.

– Ну что вы, что вы, – отозвалась Амалия Корф таким тоном, что Чигринский сразу же насторожился. – Общеизвестно, что в нашей стране никто никому не завидует и все только рады чужим успехам. Не так ли?

...И тут Чигринский понял, почему Амалия ему так не нравится и, судя по всему, не понравится уже никогда. Дмитрий Иванович любил женщин, похожих на цветы, таких, как Оленька; он мог потакать их милым капризам, служить им, даже поклоняться, но ему не по душе были женщины, которые пытались вести себя с ним на равных, – все равно как если бы

цветок возмнил о себе, что он нечто большее, и принялся с ходу строчить романы и рассуждать об избирательном праве. Положим, ничего подобного он за Амалией не заметил, но ее ирония, непривычная для женщины, сбивала его с толку. Кроме того, Чигринского не покидало ощущение, что баронесса Корф (он наконец-то вспомнил ее титул и вспомнил, где совсем недавно встречал это имя) попросту не воспринимает его всерьез.

– Если кто-то из коллег и завидует мне, – довольно сухо промолвил он, – то не настолько, чтобы... чтобы решиться на убийство. Это, простите, совершенно невозможно.

– Тогда как вы сами объясняете случившееся? – с любопытством спросила его собеседница.

– Я думаю, что я чего-то не знаю, – мрачно ответил композитор. – Что-то должно было случиться, что привело к этому страшному событию. Но у меня нет никакой догадки, даже намек на догадку. – Он пожал плечами. – Ее враги? Я допускаю, что она кому-то могла не нравиться, но... не до такой же степени! Мои враги? Это просто смешно. Ограбление? Но все вещи были на месте, так что эта версия тоже отпадает...

– Если только вы не спугнули грабителя, – отозвалась Амалия.

– И куда же он делся? Когда я поднимался наверх, то увидел только Вахрамеева. – Чигринский покосился на невозмутимое лицо Амалии и все же рискнул закончить фразу: – ...А он, хоть и жулик, совершенно по другой части.

– Допустим, а грабитель не мог скрыться через черный ход?

– Нет. Я проверял – дверь черного хода была закрыта на засов. Отпереть ее снаружи невозможно.

– Вы говорили, на входной двери тоже засов? Ну что ж... Получается, что Ольга Николаевна сама впустила своего убийцу. Когда он сделал свое черное дело, как пишут в романах, то ушел тем же путем. Кстати, – задумчиво добавила Амалия, – ему вовсе не обязательно было встречаться с вами на лестнице. Он мог и подняться наверх, к примеру. Впрочем, я надеюсь, что нам удастся прояснить этот момент.

– Нам? – только и мог вымолвить пораженный Чигринский.

– Ну, это я так, – неопределенно отозвалась его собеседница. – Разумеется, вести следствие буду я, но без помощников в таком деле не обойтись. – Она изучающе посмотрела на Чигринского. – Вы уверены, что никому в целом свете не могло прийти в голову убить Ольгу Николаевну?

– Никому, – твердо ответил композитор.

– Вот и прекрасно, – неизвестно к чему заключила Амалия. Она оглянулась на позолоченные часы, мирно тикавшие на камине. – Сегодня вы ночуете у меня. Впрочем, может быть, вы хотели бы прежде поужинать?

Тут Дмитрий Иванович возмутился.

– Сударыня, – пропыхтел он, – простите, если я буду слишком откровенен, но... с какой стати мне оставаться у вас?

– А вы не догадываетесь? – осведомилась его собеседница, и в ее глазах вспыхнули и погасли золотые искры.

– Нет, – честно ответил Чигринский.

– Если целью неизвестного преступника было бросить тень на вас, замарать и уничтожить во мнении общества, – будничным тоном объяснила Амалия, – то теперь, после убийства, он вряд ли остановится. Следовательно, вам, мне и вообще всем на свете будет спокойнее, если вы будете находиться здесь, среди людей, которые не допустят, чтобы с вами случилось что-то плохое.

– Госпожа баронесса, – в некотором изумлении промолвил Чигринский, – как бывший офицер... нет, не то... словом, я не позволю себя запугать... и вообще я никого не боюсь. Вы понимаете меня?

– Я понимаю, что вам грозит опасность, – спокойно отозвалась Амалия, – и не только вам, но и, возможно, другим людям, которые с вами связаны. Впрочем, я предлагаю поговорить об этом завтра, когда кое-что прояснится.

Чигринский насупился.

– А что, собственно, может проясниться? – проворчал он.

– К примеру, кто входил в дом незадолго до вас, – сказала Амалия. – И другие моменты. А пока на вашем месте я бы как следует поразмыслила, нет ли у вас серьезного врага. Такие господа не возникают из ниоткуда – должна быть причина. – Она поднялась с места. – Так что насчет ужина, Дмитрий Иванович? Мне распорядиться?

– Вы слишком добры, госпожа баронесса, – пробурчал композитор. – Но я... По правде говоря, я слишком устал, и вообще... – Он оглянулся на фигуру на диване, накрытую белым покрывалом. – Боюсь, после сегодняшнего мне кусок не полезет в горло.

– Тогда идемте, – сказала Амалия. – Я покажу вам вашу комнату.

Внутренне бунтуя, Дмитрий Иванович последовал за баронессой – а что, собственно говоря, ему еще оставалось делать?

Они поднялись на второй этаж, прошли по коридору (Чигринский на ходу сообразил, что его ведут в дальнее крыло дома) и внезапно оказались в просторной комнате с высоким потолком и с расписными светлыми панелями на стенах. Вдоль окон стояло множество экзотических растений, но вовсе не они привлекли внимание композитора и не они являлись причиной того, что он застыл на месте как вкопанный, не веря своим глазам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.